Анри Труайя

Член Французской академии

Сын сатрапа

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

1920 год. Масштабные социальные потрясения будоражат Европу в начале XX века. Толпы эмигрантов устремились в поисках спасении на Запад из охваченной пламенем революционной России. Привыкшие к роскоши и беспечной жизни, теперь они еле-еле сводят концы с концами. Долги, нужда, а порой и полная безнадежность становятся постоянными спутниками многих беженцев, нашедших приют вдалеке от родины. В бедности и лишениях влачит полунищенское существование и семья Тарасовых: глава семейства приносит в дом жалкие гроши, мать занимается починкой белья, старший брат главного героя книги Шура – студент, сестра Ольга – танцовщица.

На фоне драматических событий столетия разворачивается судьба Льва Тарасова. Он, самый младший в семье, не мог даже предположить, что литературный проект, придуманный им с другом для развлечения, изменит всю его дальнейшую жизнь…

Читая эту книгу, вы станете свидетелями превращения обычного подростка во всемирно известного писателя, классика французской литературы.

Анри Труайя, глядя на нас со страниц, трогательных и веселых одновременно, повествует о секретах своего навсегда ушедшего детства.

- Анри Труайя
  - I. Нежданная Венеция
  - II. Пропавшая душа
  - III. Незнакомый Никита
  - IV. Два пожара
  - V. Танцы! Танцы!
  - VI. По указанному адресу не проживает
  - VII. Последний случай
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14

Анри Труайя
Сын сатрапа

Посвящается Гит и Минуш

I. Нежданная Венеция

Привыкший встречать путешествующих новобрачных, тайных любовников, эстетов—любителей музейной старины, туристов, заветной целью которых было посещение наибольшего количества памятников за минимум времени, консьерж большого отеля в Венеции, в котором по рекомендации носильщика решил остановиться мой отец, был, должно быть, неприятно удивлен, когда в марте 1920 года в холле этого дворца появилась многочисленная семья Тарасовых. С озабоченными лицами, в помятой, запылившейся одежде, с бедными, перевязанными бечевками чемоданами, страшно усталые, почти без денег мы прибыли из России.

Спасаясь, наша семья вынуждена была бежать через сотрясаемую большевистской революцией страну. Следуя за Белой армией, после ее поражений и отступлений, мы в конце концов оказались в Новороссийске, на берегу Черного моря. Однако город уже был окружен восставшими войсками. В случае капитуляции судьба «богатых врагов народа» была предопределена. Худшее – немедленный расстрел, лучшее – заключение в лагерях, депортация, принудительные работы. Донос на соседа отменял приговор. Нужно было бежать, пересечь границу, потерять родину, чтобы уцелеть. В то время, когда красные отряды входили в город, мы – в этом хаосе – смогли найти места на борту пассажирского судна *«Афон»*, уже отплывавшего в Константинополь.

В Константинополе благодаря хлопотам в консульствах и временных органах власти, которые правили в Турции с конца войны 1914 года, отцу удалось получить для всей семьи въездную визу во Францию. Первым портом на нашем пути стала Венеция. Когда мы отплывали, лицо матери сияло от счастья. Ей казалось, что мирная Европа даст нам наконец долгожданный приют. Мне тогда было семь с половиной лет, и я помню, как она радовалась, когда мы, прижавшись друг к другу на «вапоретто», увидели Дворец дожей.

В отеле, вынужденные экономить скудные средства, мы поселились всемером в трех крошечных комнатах, окна которых отнюдь не выходили на канал.

Маме хотелось воспользоваться нашим пребыванием в Венеции, чтобы посетить художественные галереи, соборы, помечтать на площади Святого Марка и перед Мостом Вздохов. Но папа напомнил ей, что нам следует соблюдать указанные в визе даты, и, так как конечной целью нашего путешествия была

Франция, мы не могли позволить себе задерживаться в пути.

Одним словом, мы не собирались ни распаковывать чемоданы, ни отправляться на какие-либо прогулки. К тому же в день нашего приезда в Венецию папа заказал через консьержа для всех нас билеты на парижский поезд. Человек принципов – он не допустил бы изменения программы, неожиданных выдумок, ненужных фантазий. Признаюсь, я был всецело на его стороне. Нетерпение поскорее отправиться в дорогу было вызвано, конечно, дифирамбами моей швейцарской гувернантки, мадемуазель Гортензии Буало. С раннего детства я слышал от нее, что только Женева и Лозанна могут сравниться с красотой и величием Парижа. Как не поверить этой влиятельной особе, которой полностью доверяли мои родители? Она волей-неволей следовала за нами во время панического отступления, и, не упуская случая, проклинала странную идею, пришедшую ей в голову десять лет назад, – стать воспитательницей в русской семье в Москве.

Несмотря на годы жизни в России, она ни слова не знала по-русски и объяснялась только на французском. Она же научила этому языку мою старшую сестру Ольгу, брата Александра, отца, мать и меня самого. И именно потому, что все мы более или менее хорошо говорили по-французски, папа выбрал местом нашего прибежища Францию.

Однако в нашей семье был человек, который высокомерно игнорировал этот язык и, более того, с трудом говорил на русском – моя бабушка по отцовской линии. Уроженка Кавказа, она оставалась истинной черкешенкой и говорила на ломаном русском только тогда, когда хотела, чтобы ее поняли внуки. Старушка отказывалась признавать, что мы уже были не в России. Тяготы, выпавшие на нашу долю во время скитаний, были, по ее мнению, следствием некомпетентности царских министров, не сумевших выполнить приказы Его Величества. Из уважения к ней и усталости мы не оспаривали ее иллюзий. И даже не стали ничего объяснять ей, когда в Венеции она удивилась нашему интересу к городу, затопленному водой, на улицах которого нельзя было пройти не замочив ног. Мадемуазель Буало говорила по поводу бабушки: «Не волнуйтесь! Она все понимает, но шутит с вами. Рисуется!»

Я же считал, что «рисуется», скорее всего, м-ль Буало. Она была воспитана в гельветическом патриотизме и смотрела на себя как на главную жертву войны и революции, которые должны были бы пощадить ее, гражданку нейтральной страны. Мама ее очень любила, возможно, из-за своей любви к французскому. Я же ее ненавидел или скорее боялся. Из-за требовательности и резкости.

Однако должен был признать, что она немного смягчилась в волшебной атмосфере Венеции. Вместе с мамой они попытались упросить папу отложить наш отъезд на несколько дней.

– Мы ведь в Венеции! Мы не можем уехать, не посмотрев ее! – вздыхала мама. – Такого случая, может быть, больше не будет никогда! Нужно перенести дату отъезда…

– Я знаю несколько итальянских слов, – поддержала м-ль Буало. – Если хотите, месье, я могу сходить узнать на вокзал, попытаться уладить дело…

Однако «месье» был непоколебим. Исчерпав все доводы, мама покорилась. Однако предложила в качестве «компенсации» поехать на вокзал не в моторной, стремительно разрезающей воду лодке шумной, а в идиллической гондоле. Папа снисходительно улыбнулся из-под своих коротких усов этому проявлению старомодного романтизма в супруге. Но она так умоляюще смотрела на него, что он уступил:

– Только, – сказал он, – мне кажется, что нас слишком много для одной гондолы и у нас очень большой багаж. Возьмем две, на всякий случай.

Мама, сдерживая радость, сложила по-индусски руки в знак благодарности, а м-ль Буало, выражая общее мнение, заключила:

– Хотя бы это! Хорошо, что не без пользы побывали в Венеции.

В назначенный день и час мы погрузились в две гондолы, которые заказал для нас консьерж отеля. Папа садился в лодку с озабоченным видом генерала, готовящегося к сражению. Я занял место рядом с ним, мамой и бабушкой в первом мрачном, элегантном ялике; брат, сестра, м-ль Буало устроились во втором. И медленное скольжение в торжественной тишине, среди горделивых фасадов венецианских дворцов, расположенных по обе стороны Большого канала, началось.

Мама вполголоса вдохновенно комментировала прекрасную архитектуру, выплывающую из глубины веков и волн. Она как будто наслаждалась свадебным путешествием, о котором мечтала на протяжении двадцати лет. Папа же поминутно смотрел на часы, нервно кусал губы и теребил кончики усов. Он явно волновался, думая о том, что из-за нелепых, торжественно свершающих свои жесты гондольеров мы могли опоздать на поезд. Повернувшись к маме, он наконец проворчал:

– Этого не следовало делать! Просто смешно! Вот, что бывает, когда уступаешь всем капризам… На мотороной лодке мы уже были бы на вокзале!

Ни один из этих упреков не трогал маму, погрузившуюся в свой мираж. Понимала ли она, что нам нужно было как можно

скорее покинуть Венецию и отправиться в Париж, что наше будущее было там, а не здесь? В то время, как она улыбалась солнечным бликам на стенах домов, папа не спускал глаз с часов. Он ничего не видел, он считал секунды. Бесстрастный гондольер погружал свое единственное весло размеренным широким жестом в сине-зеленые волны. Гондола была так завалена чемоданами, свертками и узлами, что по самую кромку погрузилась в воду. Один неловкий жест – и мы бы перевернулись! Раздраженный беспечностью лодочника папа, собрав все свои знания итальянского, не скрывал больше нетерпения:

– Papido! Presto!

И стучал пальцем по стеклу наручных часов, показывая нашему перевозчику, что нужно ускорить движение. Однако гондольер, который, конечно, больше привык мягко укачивать мечтающих туристов, не представлял, что ему могли дать кощунственный приказ поторопиться. В своей красной шерстяной шапочке он возвышался в задней части черного длинного ялика и пел грустную песню. Казалось, он сам был покорен городом, который нам радушно показывал. Так как папа волновался и страшно сердился, он решил, что от него требовали дополнительную информацию, и принялся подробно, на полуитальянском-полуфранцузском рассказывать историю зданий, возвышавшихся по обоим берегам реки. Мама же просто наслаждалась. М-ль Буало время от времени издавала возгласы удовольствия: «Великолепно! Кажется, что мы посреди театральных декораций!»

Бабушка молилась, перебирая пальцами четки, а папа терпеливо молчал. Только когда приплыли к церкви Святого Иеремии, провал дела стал очевиден.

– Ну вот! – сказал папа. – Мы опоздали на поезд.

Мама смутилась, понимая свою вину, и ответила расстроенным голосом:

– Извини, Аслан[1]! Это из-за меня! Если бы я знала…

Вторая гондола, следовавшая прямо за нами, причалила позади нас на пристани у железнодорожного вокзала Санта-Лучия. Нам, казалось, только оставалось повернуть назад и смиренно вернуться в отель. У папы был такой расстроенный вид, что никто не посмел сказать ему ни слова в утешение. Однако мама посоветовала сходить в кассу, чтобы получить для большей уверенности справку. Он отправился туда нехотя. И три минуты спустя вернулся воодушевленным. К счастью, в те годы поезда в Италии редко отправлялись вовремя. Наш даже не был окончательно сформирован. Однако времени осталось только на то, чтобы добраться до него бегом. Мы взяли багаж и кинулись,

подхватив стонавшую и прихрамывавшую бабушку, к перрону, где состав еще стоял в ожидании локомотива. Когда вся наша семья упала на сиденья купе, мне показалось что мы только что чудом спаслись от последнего преследования большевиков.

Переведя дух, мама сказала без упрека в голосе:

– Как всегда, Аслан, ты волновался напрасно и из-за этого не увидел Венеции!

– Да нет, увидел, – возразил папа. – И даже лучше, чем вы, может быть!.. Только я люблю точность, пунктуальность!…

– Лучше было бы, если бы ты иногда о них забывал! – заметила мама, слегка улыбнувшись.

Однако настаивать не стала. Она одержала маленькую победу. Когда поезд тронулся, она медленно, серьезно перекрестилась. Все последовали ее примеру, кроме бабушки, которая от усталости уснула.

Минуту спустя мама сказала как бы для себя самой:

– Нужно будет еще раз приехать в Венецию!

– Обещаю тебя, Лидия! – ответил папа, смутившись.

Он неожиданно стал похож не на главу солидной семьи, а на провинившегося ученика. Я с восхищением наблюдал за изменением соотношения сил между двумя покровительствовавшими и заботившимися обо мне лагерями. Одним – нежным и внимательным, другим – обладавшим силой и авторитетом.

II. Пропавшая душа

Играя с детьми эмигрантов на борту парохода *«Афон»*, который перевозил нас из Новороссийска по водам Босфора, я подружился с Никитой Воеводовым. Однако как только высадились в Константинополе, наши семьи расстались. Каждая выбрала свой собственный маршрут, свою собственную судьбу. По прибытии во Францию после короткого венецианского приключения, я не знал ничего о том, где остановились Воеводовы. Хотя должен признать, что мой переезд за границу был таким неожиданным, а первые месяцы в Париже такими захватывающими, что я и не думал о судьбе моего товарища по эмиграции. Встреча с французским лицеем, французскими мальчиками, французскими книгами настолько вскружила мне голову, что мне было все равно, где жил Никита: в Италии, в Германии, в Чехословакии или в Китае. И только три года спустя, после долгих скитаний, когда наша семья наконец остановилась – сначала в меблированном отеле «Отей», а затем в скромной квартире на авеню Сент-Фуа в Нейи-сюр-Сен, – я получил известие о нем.

Однажды вечером во время ужина, который ежедневно собирал нас всех семерых за столом, папа рассказал, что Воеводовы, пожив в Марселе и Лионе, обосновались недавно в Париже. Он не решался сказать нам об этом раньше, чтобы, как говорил он, не злословить. А сегодня был уверен в потрясающем факте. За несколько лет Георгию Воеводову, отцу Никиты, удалось собрать целое состояние. В то время как в среде русских эмигрантов потомственные князья работали шоферами такси или рабочими на заводе Рено, а их почтенные супруги – гардеробщицами в кабаре или надомными портнихами, парень так хорошо развернулся, что неудачливые соотечественники смотрели на него со смесью зависти и презрения. Он, бывший в Москве простым уполномоченным банка, сумел во Франции под предлогом защиты его комитентов, загнанных в России в тупик, сколотить большие деньги. Эта удача на грани мошенничества возмущала папу. Обычно очень сдержанный в своих суждениях о других эмигрантах, он не стеснялся называть при нас Георгия Воеводова «фальшивомонетчиком» и «хапугой». При каждом этом унизительном эпитете мама болезненно вздрагивала, она не любила, чтобы в присутствии детей перетряхивали «грязное белье взрослых». По правде говоря, обвинения, которые бросал папа, меня нисколько не трогали. Из его оскорбительных слов я запомнил только то, что Никита сейчас в Париже и что я, может

быть, после долгой разлуки вновь увижу его! Как же можно было, спрашивал я себя, так долго без него обходиться? В то время, как мне уже представлялись наши будущие встречи, мама, м-ль Гортензия Буало, брат и сестра, казалось, с большим интересом следили за разоблачением махинаций Георгия Воеводова.

Из уважения к моей гувернантке разговор велся на французском, время от времени родители переходили между собой на русский. Верная своему долгу м-ль Буало иногда поправляла синтаксическую или лексическую ошибку. Она жила под одной крышей с нами, не теряя надежды найти место учительницы в состоятельной семье, которая могла бы обеспечить ей регулярное жалованье, что для нас теперь было не по средствам. В качестве платы за жилье и стол она изредка давала мне уроки орфографии и счета, в которых я совершенно не нуждался, так как легко справлялся с учебой в лицее Пастера. В то время, как она старательно исправляла русский акцент и неправильные обороты речи родителей, брат забавлялся тем, что разжигал злопыхательство папы против «этого плута Воеводова». Считая, что Александр переходит границы, Ольга заметила ему, что Воеводовы не были, может быть, «столь плохими», как это говорилось, так как, судя по верным источникам, они субсидировали в прошлом году в Марселе балетный спектакль в пользу «нуждающихся эмигрантов». Скептик Александр возразил, что подобного рода благотворительность имела обратную сторону и что собранные су вместо того, чтобы пойти «нуждающимся эмигрантам», осели в карманах «щедрых организаторов». При этих словах в глазах Ольги мелькнул презрительный огонек:

– Однако в тот вечер, – воскликнула она, – Анна Далматова имела в «Щелкунчике» такой успех, что сразу была приглашена на гастроли в США!

Вместо ответа Александр постучал двумя пальцами по подбородку. На беспрестанные подтрунивания моего брата Ольга чаще всего демонстративно отвечала презрением профессионалки, которой возражал профан. Она очень ревниво относилась к вопросам карьеры в царстве пуантов и антраша. Закончив к пятнадцати годам курсы классического танца в Москве и поучившись с семнадцати лет у Анны Далматовой в Париже, она теперь вот уже как три месяца имела ангажемент в маленькой труппе, выступающей в антракте на сцене большого кинотеатра на Бульварах – в «Атене Палас». Танцевавшая в кордебалете, она страдала от того, что ее хореографическая карьера все еще не состоялась. Родители, аплодировавшие ей во многих спектаклях сезона, тоже сожалели о ее столь скромном

амплуа. Но она приносила домой немного денег, и этот – даже скромный – вклад в семейный бюджет оправдывал то, что она продолжала свой путь без славы.

В действительности мы ощутили свою бедность в Париже только после периода проб и неудач. По прибытии во Францию родители не сомневались, что их изгнание будет кратковременным, что в ближайшие месяцы добровольные белогвардейские войска, которые тайно поддерживали французы и англичане, разобьют большевиков и восстановят порядок и законность в России. В ожидании этого несомненного возвращения на родину они беспечно продали несколько драгоценных вещей, сбереженных во время бегства в подкладках одежды и в каблуках обуви. Совершенно счастливые от обретенных вновь достатка и покоя они разбрасывались налево и направо деньгами, выходили каждый вечер гулять с такими же расточительными, как и они, эмигрантами и поздно возвращались. Иногда сквозь сон я слышал через дверь их сдержанный смех. А утром, когда входил в комнату, заставал маму лежащей в постели – красивую, разнеженную, улыбающуюся. Она – нежно пахнущая духами – целовала меня и дарила разные вещицы – трофеи ее веселых ночей. Я и сейчас еще помню тряпочных кукол, дудочки из тростника, шляпки из гофрированной бумаги, серпантин, маски, отделанные кружевом, лежавшие у изголовья ее кровати. Я представляю, как она пьет шампанское, бросает в толпу конфетти, танцует с папой под звуки легкой музыки. Однако очень быстро надежда на политический переворот в России растаяла, побежденная сомнениями, ностальгией и нуждой. В порыве патриотической веры в «ангела-хранителя» эмигрантов, как говорила мама, папа вложил те немногие деньги, которые остались от распродажи наших «военных сокровищ», в одно кинематографическое предприятие, основанное соотечественниками. Скромные сбережения, оставленные на последний случай, проглотил провалившийся немой фильм, который финансировали эмигранты. Он назывался *«Ради женской улыбки»*. Я не присутствовал на показе этой ленты, сюжет которой был, по мнению родителей, мне не по возрасту. Я лишь полистал альбом с фотографиями, сделанными во время студийных съемок. Папа никогда не оправился от этого фиаско, из-за которого мы, как говорила мама, «сели на мель». Она упрекала его за это с бессознательной жестокостью. И в тот вечер вновь, раздраженная спорами по поводу Георгия Воеводова, бросила как бы невзначай:

– А разве Воеводов не вложил тоже свои деньги в фильм *«Ради женской улыбки»?*

– Нет, – сухо ответил папа. – Его упрашивали, когда он был еще в Марселе, но он отказался.

– Как всегда он оказался более практичным, чем все остальные! – вздохнула мама. – Естественно, что люди, подобные ему, преуспевают там, где другие остаются без гроша в кармане!

Задетый за живое отец возразил, что нужно было совсем немного, чтобы эта *«Женская улыбка»* одержала триумф. Если бы в ней снимались такие звезды, как Иван Мозжухин и Ева Франсис, то она бы, по его мнению, покорила зрителей. Александр и Ольга, которых сочли «достаточно взрослыми» для того, чтобы посмотреть фильм, оценили его как «очень слабый». Что касается м-ль Буало, то она отметила, что история была, конечно, захватывающей, но исполнители играли в «вольных сценах» неубедительно. Что могла, мысленно спрашивал я себя, знать эта тучная, старая, мужеподобной внешности дева с резким голосом по части любовных эмоций? Мои сомнения, казалось, не коснулись мамы, которая одобрила мнение гувернантки.

Раздраженный пустячными спорами по поводу оскорбительной для его репутации делового человека неудачи папа коротко отрезал, что этот экскурс в кинематографические дебри послужил ему уроком и что его на этом больше не возмешь. Честным людям, считал он, не следует рисковать, участвуя в делах артистов, манипулирующих образами и словами. Мой брат – «ученый», с гордостью носивший свои первые настоящие брюки, – поспешил поддержать его. В противоположность мне он был больше увлечен цифрами, чем буквами, алгебраическими задачами, а не упражнениями сердечными, измеримой, осязаемой реальностью, а не тщетным мерцанием миража. Сестра, напротив, была скорее на моей стороне. Она, конечно, догадывалась, что между танцем и мечтой граница почти незаметна и что каждый может перемещать ее по своей прихоти. Что касается мамы, то она балансировала между желанием мыслить здраво и соблазном фантазии. Впрочем, в эту минуту ни один из присутствовавших не был убедителен в моих глазах. Все они казались мне столь же чуждыми моим проблемам, как и старая, замкнувшаяся в своем молчании бабушка. Из туманной дискуссии, оживившей всех сидевших за столом, я уловил единственный реальный факт: Воеводовы жили где-то в Париже, и я скоро смогу снова увидеть своего друга с парохода *«Афон»*. Воспользовавшись короткой паузой в разговоре, я произнес настойчиво и громко:

– Мне бы очень хотелось сходить к Никите!

– Зачем? – возразил папа. – Воеводовы не нуждаются в таких посетителях, как мы, бедствующих эмигрантах!

Более снисходительная мама ласково вмешалась:

– Не будем слишком строгими, Аслан! Мы, может быть, не знаем всего о них. В сущности, ты упрекаешь их за то, что они оказались более практичными, чем мы!

– Когда практичность достигает определенной черты, она граничит с нечестностью! – заметил папа.

– А честность с наивностью! – заключила мама с ласковым укором. – Впрочем, Никита, за которым я наблюдала на пароходе, мальчик воспитанный, общительный и приятный…

– Его отец тоже воспитанный, общительный и приятный. Но если стереть лакировку…

– Ну что ж, не стирай, Аслан! Довольствуйся видимым, и все пойдет лучше для всех! У нашего сына есть только французские друзья в лицее. Это хорошо, но этого недостаточно. Я была бы рада, если бы у него был хотя бы один русский друг.

– Для чего?

– Для того, чтобы его уравновесить!

Морщинка между черными густыми бровями папы разгладилась, он взял мамину руку, лежавшую на столе, поднес ее к губам и прошептал:

– Ах, Лидия, Лидия, ты заставишь меня пролезть, как сказали бы французы, в мышиную норку!

Убедила ли она его? Думаю, что нет. Однако он знал, что, согласившись с мамой в незначительном, будет лучше понят, когда откажется уступить ей в главном. Обрадовавшись победе, я соскочил со стула и с жаром поцеловал маму. Высвобождаясь из моих объятий, она прошептала:

– Ты с ума сошел, Люлик. Постой, ты испортишь мне прическу!

Я отступил, задетый этим прозвищем Люлик, которым она называла меня с колыбели. У нее была мания давать уменьшительно-ласкательные имена. Так, она называла брата Александра Шурой. Но он категорично настоял на том, чтобы ему вернули его полное имя. Закончилось тем, что она покорилась, и «Александр» в ее разговоре чередовался с «Шурой». Я решил последовать примеру старшего брата:

– Ну мама, – сказал я, – я не хочу, чтобы ты называла меня Люлик!

– Почему?

– Потому, что это было хорошо в России, когда я был маленьким! Но в двенадцать лет – смешно!

– Не думаю! Ты хочешь, чтобы я называла тебя твоим настоящим именем?

– Да!

– Но оно мне кажется очень холодным, очень торжественным!

Впрочем, нужно выбрать: ты хочешь быть Леоном, как у французов, или Львом – как у русских? Одни говорят «Леон» Толстой, другие – «Лев» Толстой; оба имени равнозначны!

Она смеялась, глядя на меня. Я никогда и ничего еще не читал из Толстого, однако знал от родителей, что это был один из самых известных русских писателей. Это сопоставление моего имени с именем великого литератора раздавило меня вместо того, чтобы мне польстить. Я вдруг почувствовал себя таким смешным, как если бы мама надела на меня слишком большую шапку. Этот огромный головной убор спустился мне на уши. Надо мной посмеются во Франции. Из-за Толстого уменьшительное «Люлик» показалось мне более уместным в моем случае.

– Нет, – сказал я, – потом посмотрим… А пока продолжай называть меня Люлик, как привыкла. Только это между нами!

И, прервав неприятный разговор, прямо спросил:

– Когда я смогу пойти к Воеводовым?

– Нужно договориться с ними, – ответила мама. – Я напишу госпоже Воеводовой. Думаю, что они живут где-то рядом с Пасси…

– У меня есть их точный адрес, – сказал папа. – И я сам напишу этому негодяю Воеводову. Так он не сможет отказать!

– Ты прав! – признала мама. – Так будет еще лучше! Мадемуазель Буало проводит Люлика на эту первую встречу…

– Нет! – крикнул я. – Я хочу пойти туда один!

– Но ведь это не так близко, Люлик! Я боюсь, что ты заблудишься в метро…

– Я уже много раз ездил в метро, мама. Это очень просто! А ты, как только я собираюсь уехать из Нейи, боишься! Не волнуйся!

Мама колебалась. Папа решил:

– Договорились, ты поедешь туда один. Тебе в твоем возрасте уже следует ориентироваться и в метро, и на улице, как и в жизни. Кто знает, что будущее готовит нам, эмигрантам? В России мы не знали никаких забот. А здесь нужно сражаться за каждый шаг, избегать подножек… Если ты сможешь научиться этому у этих прохвостов Воеводовых, то уже это будет хорошо!

Пока он так рассуждал, мадемуазель Буало кивала ему согласно в знак одобрения головой. Она всегда проповедовала спартанское воспитание. Дисциплина, ответственность, грамматические упражнения и обливание холодной водой были, с ее точки зрения, лучшими гарантами успеха для здорового мальчика. Она с радостью занялась этим, воспитывая меня в мои ранние детские годы в России. Я не мог простить ей ни ее постоянной строгости, ни ее толстощекого в красных прожилках

лица, ни ее огромного, как пузо самовара, бюста. В моей памяти Гортензия Буало остается по-прежнему воплощением Никола Буало. И, конечно, из-за этого совпадения имен автор *«Поэтического искусства»* и *«Посланий»* был так долго мне антипатичен! Поглощенный воспоминаниями о гувернантке, я думал о ней, как о глупой педантке, которая злоупотребляет своей властью для того, чтобы подавлять фантазию у своих питомцев.

Размышляя над важным событием вечера, я неожиданно понял, что удовольствие, которое предвкушал от встречи с Никитой, в сущности заключалось в мысли о том, что в ней не будет участвовать м-ль Гортензия Буало. Это обстоятельство вызвало блаженную улыбку у меня на губах.

– Ты чему радуешься? – спросил Шура. – Тому, что увидишь своего товарища, или тому, что поедешь на метро один?

– И тому, и другому, – сказал я.

– А если я предложу поехать с тобой в метро, согласишься?

– Нет! – возразил я резко.

Он рассмеялся:

– Я так и подумал! Поездка в метро для тебя – целый подвиг! Ты и вправду олух!

Он с издевкой наслаждался удовольствием от того, что донимал меня. Но я на него не сердился. Он был на четыре с половиной года старше меня и имел право – или почти должен был – подтрунивать надо мной, чтобы «научить меня жить». Мы оба ходили в лицей Пастера. Только он был у «старших». На следующий год он перейдет в первый. И, сдав экзамены на бакалавра, будет заниматься в «мат'элем»[2], а еще позднее, конечно, поступит в «суп'элек»[3] – класс!

Путь Ольги тоже был определен. Что касается ее, то вопрос о ее учебе уже не стоял, так как она закончила гимназию в России. В двадцать лет она могла в свое удовольствие заниматься любимым делом – танцами. Я завидовал брату и сестре, так как они уже знали этапы своей карьеры, в то время как сам не представлял даже, на чем мне хотелось бы остановить свой выбор. Конечно, я любил читать, я неосознанно старался подражать французским или русским авторам, книги которых оказывались у меня в руках, однако стану ли я когда-нибудь хоть немного похожим на них – сочинителем историй, торговцем иллюзиями? Мне было двенадцать с половиной лет, и время для меня текло с той же медлительностью, с которой созревает все живое в природе. Чтобы легче переносить тяжесть этого ожидания «настоящих дебютов», я думал обо всем на свете – и о Никите, и о метро, и о моих последних оценках по французскому.

Продолжение обеда прошло спокойно. Я склонился над тарелкой, и скромная еда показалась мне гораздо более вкусной. Все мне нравилось, потому что я вновь увижу Никиту. Я попросил себе еще порцию отварной говядины с морковью.

III. Незнакомый Никита

Неужели это был он? Я пытался узнать *моего* Никиту, того – с эмигрантского парохода – в незнакомом мальчике, который раскрыл мне, улыбаясь, объятия на пороге своей комнаты. Он очень вырос за три года, его лицо вытянулось, черты стали более четкими, едва заметный пушок оттенял верхнюю губу; голос, деформированный ломкой, звучал неровно, и – деталь, которую нельзя не заметить, – носил короткие брюки для гольфа, достигавшие середины икры, в то время как я по воле мамы все еще надевал шорты. Служанка в белом переднике и маленьком чепчике встретила меня внизу в вестибюле и церемонно провела до двери «месье Никиты» на третьем этаже небольшого особняка. Как только она ушла, он посадил меня рядом с собой перед столом, заваленным, как кафедра школьного учителя, книгами и исписанными листами, и мы принялись, перебивая друг друга, рассказывать о наших похождениях. Я узнал, таким образом, что он высадился в Марселе, что начал там учебу и продолжил ее в Лионе, прежде чем окончательно обосновался в Париже, где посещал лицей Джансон-де-Сейи. Он учился в четвертом классе. Я был моложе его на два года, поэтому – естественно – ходил только в шестой. И, конечно, спрашивал себя – не будет ли разница в возрасте с Никитой преградой для нашей дружбы.

Чтобы придать себе вес, я рассказал ему, что лицей Пастера, учеником которого я был со времени нашего приезда во Францию, отличался достаточной свободой дисциплины и современным уровнем преподавания. Он охотно мне верил. Мы с увлечением принялись рассказывать анекдоты об учителях, о товарищах и об отчаянных потасовках. После отчета о ежедневных занятиях нам, казалось, было больше нечего сказать друг другу. Я вспомнил, что на пароходе мы отлично проводили время с другими детьми эмигрантов, играя в гражданскую войну. Разделившись по жребию на два лагеря – с одной стороны монархисты, с другой – большевики, мальчишки носились по палубе, имитируя звуки пулемета, кричали и колотили друг друга, пели победные гимны и стрелялись бумажными шариками. Однако время детских развлечений прошло. Даже оловянные солдатики не занимали нас больше. Я с сожалением замечал, что скучал с Никитой. Я так надеялся на нашу встречу, что почти сердился на него за слишком довольный и счастливый вид, за нарядную одежду. Хотелось, чтобы он удивил меня чем-то иным, а не роскошью своего дома на улице Спонтини и множеством книг. Для чего-то он с гордостью объявил мне, что был вторым в

сочинении по французскому. У меня тоже были хорошие оценки по французскому в этом месяце, однако я не хвастался этим. Неожиданно мне вспомнилось, что на пароходе мы говорили во время шуточных потасовок по-прусски. А что же теперь? Он нашел мое замечание уместным. Как и у нас, у Воеводовых говорили равно на двух языках. Однако Никита признался мне, что когда ему нужно объяснить что-то важное, на ум, естественно, приходят французские слова. Я сказал, что со мной происходит то же самое.

– Это фатально, – признался он. – Когда живешь в какой-либо стране, она, хочешь не хочешь, завладевает тобой с помощью своих слов, своих книг, своих пейзажей… Я вижу, что даже мои родители, которые, как и твои, упрямо продолжают держаться за Россию, с каждым днем все больше привязываются к Франции…

Это замечание заставило нас приумолкнуть. С каждой минутой ощущение напряженности и отстраненности усиливалось. Казалось, что столь долгожданная встреча неожиданно превращалась в тяжкое испытание. Я решил, что меня нечасто будут видеть на улице Спонтини. Мы все еще молчали, когда та же служанка, которая встретила меня у входа, пришла позвать нас на обед.

Родители Никиты уже ждали в гостиной. Я, помнится, видел их в перерыве между потасовками на палубе парохода, однако мое воспоминание было таким смутным, что показалось, будто бы я встретился с ними в первый раз. Георгий Воеводов, махинации которого с удовольствием разоблачал мой отец, был маленьким, толстым, жизнерадостным человеком с черепом лысым, как яйцо, и хитрыми глазками. Я подумал, что внешность этого очень круглого господина типична для опасного преступника. Папа, должно быть, был плохо осведомлен. Что касается матери Никиты – Ирины Павловны Воеводовой, – то ее худоба, ее бледность и тик, подергивавший уголки губ, свидетельствовали о нервном заболевании. Вместо того, чтобы почувствовать себя непринужденно, я из-за напряженности решил, что нарушил обычаи дома. Однако, когда перешли к столу, г-жа Воеводова, стараясь казаться любезной, спросила меня о семье. Чтобы не отстать от нее, муж тоже захотел узнать, чем занимаются мои родители, продолжил ли папа кинематографические эксперименты после неудачного фильма *«Ради женской улыбки»*, были ли у него другие планы, доволен ли он результатами своего пребывания во Франции. Эти вопросы меня очень смущали. Гордость не позволяла мне признаться, что после коротких мгновений счастья и роскоши мы жили скудно, перебиваясь «от одного дня к другому», что папа вынужден был жить случайными

заработками, тайным одалживанием денег и продажей последних драгоценностей. Конечно, Георгий Воеводов догадался об истинном положении дел, слушая мой сбивчивый рассказ, так как вдруг, воспользовавшись тем, что рядом с ним сидел какой-то пожилой русский господин, в котором я угадал близкого родственника маленького семейства с улицы Спонтини, сменил тему разговора и перешел к политике. Ловко манипулируя ножом и вилкой, он принялся говорить об опасности экспансии русского коммунизма, двусмысленном отношении французов к советской власти, глупом разделении эмигрантов на монархистов и либералов. Точь-в-точь такие разговоры вел у нас дома мой отец. Эта мысль успокоила меня, и, облегченно вздохнув, я с наслаждением ощутил вкус еды.

Все, что я ел здесь, мне нравилось больше, чем дома. А так как г-жа Воеводова заметила, между прочим, что уже два года у нее служит французская кухарка, которую она привезла из Марселя, то я с еще большим уважением стал рассматривать содержимое блюд. Я заметил, что рядом с каждой тарелкой стояла серебряная подставка для ножей и мисочка для ополаскивания пальцев после еды. Подставки для ножей были сделаны в виде разных маленьких борзых, длинные спины которых служили для размещения приборов. В чашечках для ополаскивания плавал розовый лепесток. Скатерть была белоснежной, а центр стола украшал букет из лилий. Горничная бесшумно скользила по гостиной, склонялась над гостями, меняла тарелки, выпрямлялась, вновь ходила за нашими спинами, как будто сомневалась, выбирая, кого из нас поцеловать. Я был восхищен и в то же время смущен такой пышностью. Она напоминала мне наши обеды в Москве, однако это было так давно, и я был тогда таким маленьким! К чему оживлять те обычаи, участвуя в анахроничном, смешном спектакле? Мне захотелось вернуться в наш скромный и простой дом. Я немного жалел Никиту за то, что он не обедал и не ужинал каждый день так, как я, за столом со старой клетчатой скатертью.

У г-жи Воеводовой была маленькая лохматая собачка, которая попрошайничала у стола, тихонько тявкая, чтобы привлечь внимание хозяйки. Она звала ее Дусик и кормила кусочками мяса, с удовольствием наблюдая, как та ест, виляя хвостом. Я вспомнил слова мамы, говорившей, что во Франции все под стать самой стране – маленькое и изящное, в то время как в России просторы безграничны, а животные и люди имеют внушительный рост. Наша собака Бари, которую мы оставили в Москве, когда пришлось бежать из России, была огромным сенбернаром с рыже-белой шерстью, постоянно вынюхивающим

что-то носом и добрыми глазами. Бари жил на улице в конуре и чувствовал там себя превосходно. Вход в дом был ему запрещен. М-ль Буало уважала его за его происхождение, которое, как говорила она, могло быть только гельветическим. Брат, сестра и я любили неуклюжего, веселого Бари; нам нравилось, как он неловко прыгал, как, играя, валил нас в снег и ласково лизал. Каждый день мы тайком убегали к нему из дома. Однако с началом уличных боев в Москве родители запретили нам играть во дворе.

Наше жилище превратилось в крепость. Двое вооруженных сторожей-черкесов днем и ночью по очереди дежурили у ворот. Друзья семьи, квартал которых был еще более опасным, чем наш, укрылись в нашем доме и спали на раскладушках в коридорах. Брат и я безвыходно сидели дома и могли лишь время от времени приподнимать матрасы, которыми были закрыты окна с целью защиты от пуль. Когда м-ль Буало выходила, мы выглядывали на улицу и вполголоса переговаривались. Там вдоль стен скользили силуэты в униформе – «хитрые индейцы». Однако, как это ни странно, эти «индейцы» были не красными. Это были против всякой логики белые – героические защитники порядка, узнаваемые по нарукавным повязкам, очень молодые, вооруженные люди. Ровно в полдень наш повар передавал им через слуховое окно на первом этаже краюху хлеба и кусок сала. За углом стояли большевики – красные, виновные, как говорил папа, во всех бедах России. Настоящий христианин должен молиться за победу белых над красными. Неожиданно началась ружейная пальба. Гувернантка кинулась к нам, чтобы оттащить от окна. Мы насторожились, стараясь представить ход перестрелки. Брат безошибочно, как настоящий солдат, определял вид оружия по звуку выстрела: «Это ружье; это – пулемет; это – пушка, но она, должно быть, стоит за городом, мы вне ее досягаемости…» Я очень боялся и старался успокоиться, уверяя себя, что речь идет об игре взрослых и что этот беспорядок нас не касается, ведь мы – дети. Наконец грохот в городе стих. И в наступившей тишине один из сторожей-черкесов принес нам в ладонях пули шрапнели. «Возьми, – сказал он с загадочным видом Шуре. – Они еще теплые. Я нашел их возле дома!» «Они кого-нибудь убили?» – спросил я. «Может быть!» – ответил уклончиво брат. Я настаивал: «Кого они убили? Красных или белых» «А тебе разве не все равно? – пробормотал Шура. – В любом случае, ты в этом не разбираешься!» Черкес, улыбаясь, покачал головой. «В самом деле, – признал он, – в этой неразберихе никогда не узнаешь, в кого целятся, кто убит… Кому повезет!… Решает Аллах!…»

Он был мусульманином, как и большинство его

соотечественников. Перед революцией Шура забавлялся тем, что заставлял его злиться, показывая полу своего пальто, свернутую в виде уха свиньи, что, кажется, является тяжелым оскорблением для исповедующих ислам. Однако теперь такие глупые шутки были совсем неуместны. Большевистская угроза сделала нас всех серьезными. Брат поделился со мной пулями шрапнели, которые стали такими же неопасными, как билетики детской игры: мы сердечно поблагодарили сторожа за подарок.

Некоторое время спустя взрослыми овладела паника. Они разговаривали между собой только о паспортах, пропусках и расписании поездов. Слуги, которые, как мне помнится, были всегда сдержанными, исполнительными и учтивыми, потребовали прибавки к жалованью, оставили один за другим свои места, прихватив кое-какие безделушки и нагрубив маме. Шепотом говорили о том, что учащиеся офицеры – «юнкера», защищавшие город, – были окружены, разоружены и что большевики взяли власть в Москве в свои руки. Папа решил, что мы должны все бросить и бежать, чтобы спастись от неминуемого сведения счетов. В этих условиях не могло быть и речи о том, чтобы взять с собой Бари. Сестра, брат и я напрасно умоляли родителей, они были непреклонны. И после долгих переговоров согласились наконец отдать нашего дорогого доброго сенбернара хозяину, который нам его продал несколько лет назад.

Во время последнего обеда в нашей столовой, когда мы – молчаливые, удрученные – мысленно прощались с домом, в котором счастливо и обеспеченно жили столько лет, отворилась дверь, и на пороге – как живой укор – появился Бари. Он, никогда не входивший в дом, почувствовал в тот день, что мог себе все позволить. Невзирая на запрет, он пришел попрощаться с нами в последний раз, по-своему. Он знал, что больше нас не увидит, и грустил поэтому, как и мы сами. Вопреки всем приличиям сестра, брат и я со слезами на глазах бросились к нему и стали его целовать. Он благодарно лизал наши руки и жалобно скулил. Отец ласково разлучил нас и отвел Бари в конуру. Пес покорился, не сопротивляясь. Смотря на парижскую собачку г-жи Воеводовой, которая суетилась, желая получить прибавку к угощению, я с волнением вспоминал неуклюжего и преданного московского сенбернара. Но как смогли бы мы устроить его в нашей скромной квартире в Нейи? Мама была права: выбрав жизнь во Франции, мы должны были пожертвовать многим.

Погрузившись в свои мысли, я вдруг заметил, что мать Никиты выгнала насытившегося, наконец, Дусика и рассказывала уже что-то, с интересом рассматривая меня. Застигнутый врасплох ее вниманием, я вернулся в мир роскошных хозяев,

удаче которых должен был бы завидовать. Г-жа Воеводова говорила о рассказе, который в то время писала на русском, чтобы развлечься. Он назывался *«Слезы княжны Елены»*. И, по ее словам, это был ее не первый опыт. Она уже написала четыре или пять книг, но, как говорила она, ни одна из них не была опубликована, потому что эмигрантские издатели «скандально мешали» своей литературе. Однако, скорее всего, у них не было денег, и они брались издавать только известных авторов – «несомненную ценность», по ее выражению. Жертва интриг, г-жа Воеводова тем не менее утверждала, что совсем не была огорчена.

– Я получаю удовольствие, – сказала она, – от того, что рассказываю истории, держа перо в руках. И чем они необычнее, тем больше меня увлекают. Неважно, что рукописи остаются в ящике письменного стола. Главное, что я смогла заинтересовать ими людей, которые дороги мне!

Произнося эти слова, она многозначительно взглянула на мужа и сына. Они поддержали ее. Георгий Воеводов подсказал:

– Тебе следовало бы прочитать детям начало *«Слез княжны Елены»*…

– Но я написала только тридцать страниц! – возразила она. – И Никита их видел!

– Он – да, но не его друг!

Я покраснел до корней волос. Г-жа Воеводова вопросительно посмотрела на меня. Потенциальный слушатель, я неожиданно стал ей интересен. Щеки ее порозовели. Погасшие глаза засветились радостью в предвкушении общения. Она обратилась ко мне с неожиданной фамильярностью:

– Знаете, Люлик (она назвала меня Люлик, что казалось совсем неуместным), речь идет об очень сентиментальной, очень романтичной и совсем немодной истории!… Однако мне совершенно все равно! Я пишу с удовольствием… Никите тоже понравилось… Впрочем, она очень короткая… За полчаса закончим!

Я был польщен тем, что ее интересовало мое мнение, в то время как она уже знала мнение мужа и сына. Готовясь к чтению, она как бы заранее извинялась за услугу, которую требовала от меня. Это, наверное, естественно, когда писатель боится заставить скучать своих слушателей? Я прочитал уже несколько книг для юношества – произведения из серии *«Розовая библиотека»*[4] – Жюля Верна, Мориса Леблана, одно или два Фенимора Купера, однако никогда еще не видел настоящего писателя. И совершенно не знал, как ведут себя в обычной жизни эти особенные люди, профессия которых состоит в том, что они сочиняют небылицы. И вот один из них у меня перед глазами,

сидит по другую сторону стола, деликатно откусывая ягодное пирожное. Конечно, ни один из рассказов г-жи Воеводовой не удостоен чести быть опубликованным, как рассказы настоящих писателей, тем не менее она была причастна, по моему мнению, к таинству, которым окружены эти продавцы лжи. Благодаря ей я буду посвящен в тайны магии из первых рук.

Как только встали из-за стола, Георгий Воеводов попрощался с нами, сказав, что у него, несмотря на воскресенье, назначена деловая встреча в кабинете. Я с грустью подумал о папе, у которого больше не было ни кабинета, ни деловых встреч. Такая заманчивая перспектива финансового успеха была для него упущена с провалом этой дурацкой *«Женской улыбки»*. Я даже не знал, что это была за женщина. И никогда ее не узнаю. Она существовала только в неудачно решенном кинематографическом опусе. Наверное, было в нем что-то, что разочаровывало любителей помечтать.

Г-жа Воеводова проводила мужа до двери, пригласила меня и Никиту в гостиную, усадила напротив себя и взяла со столика стопку исписанных листков. Прежде чем начать, она предупредила нас, что это всего лишь набросок и что она не знает еще, чем все кончится! Потом принялась читать по-русски монотонным голосом любовную историю, из которой я помню лишь то, что речь в ней шла о переживаниях богатого некрасивого молодого человека и красивой, но бедной девушки, живших в России в царствование императрицы Екатерины II, о том, что они не могли пожениться, так как этому противились их почтенные родители. Встречи были им запрещены, и несчастные могли видеться лишь изредка, тайком, поздно вечером благодаря старой няне героини. Насколько мне когда-то понравились приключения Филеаса Фогга и Арсена Люпена, настолько я остался равнодушным к переживаниям русской парочки, придуманной матерью Никиты. Неторопливая, спокойная речь г-жи Воеводовой усыпляла меня. Казалась приторной. К счастью, она вскоре замолчала.

Из вежливости я сказал, что начало этой печальной истории меня очень взволновало. Поблагодарив, она повторила, что не знает хватит ли у нее терпения написать продолжение. Мне было приятно, что, забыв о моем возрасте, она говорила со мной, как со взрослым:

– Понимаете, Люлик, автор очень раним. Он нуждается в поддержке. Конечно, как я уже сказала вам, я пишу прежде всего из удовольствия. Тем не менее не очень-то интересно марать бумагу, если никто или почти никто ничего не узнает! Я иногда думаю, не лучше ли сменить ручку на спицы!

Я сказал, что не стоит, что у нее, конечно, «куча идей» в голове. Никита поддержал:

– Ты только так говоришь, мама, а в глубине души знаешь, что не можешь без этого обойтись. Это сильнее тебя. Нужно, чтобы ты могла давать выход этой страсти!

Наша поддержка, казалось, успокоила ее. Выполнив долг милосердия, Никита и я оставили ее наедине с рукописью. Мы перешли в комнату Никиты, и он со вздохом сказал:

– Ну как? Не очень-то, да?

– Не знаю, что и сказать, – пробормотал я. – Это так непохоже на все то, что я читал!..

– Не виляй! Признайся, ерунда!

– Нет, нет… В конце концов…

– Брату и невестке тоже не понравилось! Только они не решаются сказать маме об этом. Как бы там ни было, но когда она пишет – она счастлива. *«Слезы княжны Елены»* позволяют забыть ей свои собственные. Кроме того, это никому не мешает.

Я смотрел на него с удивлением, почти с упреком:

– Ты мне не говорил, что у тебя есть брат!

– Неважно, – ответил он. – Это не родной брат, а сводный. Он родился у мамы очень давно, от другого брака. Потом, когда умер ее первый муж, она вышла за папу. И вот – результат этого запоздалого союза у тебя перед глазами! Смотри – радуйся!

Он постучал по груди двумя пальцами, как будто пробовал ее на прочность.

– Сколько лет твоему брату? – спросил я.

– Двадцать восемь. Старик! Его зовут Анатолий Суславский. Он сражался добровольцем в Белой армии. И нагнал нас во Франции после поражения войск Врангеля. Женился на француженке – Лили – потрясающей женщине! В ближайшие дни ты увидишь ее. Они живут в двух шагах отсюда, в конце улицы Спонтини. Анатолий торговец шампанским. Большую часть времени он путешествует. Мы отлично ладим! Хохочем по любому поводу!

Он замолчал, сдвинул брови и, изменив тон, воскликнул:

– Ну а мы, мы-то чем займемся?

Ошеломленный вопросом, я не знал, что ответить. То, что он только что рассказал мне о своем женатом сводном брате, торговце шампанским, окончательно сбило меня с толку. Я догадывался, что теперь никакая игра, никакой разговор, никакая шутка не могли бы нас так сблизить, как на пароходе. Может быть, нас разъединила разница в возрасте, ставшая заметной после долгой разлуки, или учеба в разных лицеях, или разные уловия жизни? Я уже почти решил, что любая дружба между нами

невозможна, когда Никита, указав на меня пальцем, воскликнул:

– У меня есть идея! А не взять ли пример с моей матери, не написать ли роман?

Потрясенный его смелостью, я пробормотал:

– С ума сошел! У нас ничего не получится…

Однако он стоял на своем:

– Я видел, как это делает мама, – объявил он. – Дело нехитрое! Достаточно для начала придумать сюжет. А потом все пойдет само собой! Возьмемся за дело вдвоем… Несколько страничек ты – несколько страничек я… Будем встречаться по воскресеньям… Ты будешь приходить сюда, будем читать друг другу то, что каждый напишет у себя дома. Соберем лучшие страницы – одну за другой.

– А потом?

– Потом?.. Откуда же я знаю. Сделаем вместе книжку. Получится! Отдадим рукопись издателю, может, понравится… А если не понравится, забросим в стол, как это делает мама… Между тем отлично развлечемся… Уверяю тебя, будет здорово! Лучше во всяком случае, чем игра в войну красных с белыми в кучке сопляков на той посудине, которая плыла в Константинополь!

Неожиданное предложение озадачило меня. Никита же просто ликовал. В его глазах горели искорки радости. Он был весь сама решительность.

– Ну и что ты об этом думаешь? – настаивал он.

Я молчал. Много раз в лицее наш учитель месье Этьенн Корф отмечал хорошей оценкой мои задания. Однако успех в том случае был результатом обычной школьной работы в шестом классе. Здесь же речь идет о деле исключительном, далеко не школьном. Увлекаясь вдохновением Никиты, я уже представлял себя не прилежным учеником, а вольным художником. Было ли у меня на это право? Я нерешительно, чтобы протянуть время, пробормотал:

– И что мы могли бы рассказать?

– Все, что угодно!

– Может быть, наше бегство из России?..

Никита широко раскинул руки, будто хотел остановить лошадь на скаку:

– Только не это, старик! Это никому не понравится!

– Ты думаешь? – продолжал сомневаться я. – А мне очень нравится, когда папа и мама рассказывают, что они пережили в России, прежде чем приехать во Францию…

Никита на минуту задумался:

– Настоящий писатель никогда не рассказывает реальных

вещей, – сказал он с апломбом. – Он изобретает. Это его профессия! Посмотри на мою мать: ты думаешь та любовная история между очень некрасивым парнем и очень красивой девушкой произошла на самом деле?..

– Почему бы нет?..

– Оставь! – отрезал Никита. – Если хочешь заинтересовать, нужно врать!

Он говорил с такой уверенностью, что я наконец согласился с ним.

– Ну и что же? – спросил я. – У тебя есть идея?

– Пока нет!

– Тогда мы не можем еще начать!

– Можем. Потому что у меня есть заглавие!

Он поднял подбородок, оценивая меня властным взглядом, и произнес, выделяя торжественно каждое слово:

– Мы назовем это *«Сын сатрапа»*.

Я опешил.

– А что такое «сатрап»?

Никита признался, что он знал, что это такое, но значение слова вылетело у него из головы. Слово нравилось ему своим экзотическим звучанием. Это было главное. Однако, чтобы удовлетворить мое любопытство, он взял из книжного шкафа – у него был собственный книжный шкаф – словарь, открыл его на нужной странице и прочитал определение:

– «Сатрап» – сановник, осуществлявший в древней Персии деспотическую власть над провинцией.

– И что же, – сказал я. – Что это нам дает?

– Это дает главное, – ответил Никита. – Место действия и время… Что тебе еще нужно? Дело происходило в Персии в стародавние времена… Наш сатрап будет богатым человеком, могущественным и жестоким – настоящим зверем! Его сын будет его ненавидеть и захочет убить. Для начала он убьет беззаветно преданного сатрапу наперсника – его советника… Или еще – он мог бы отравить своего младшего брата… Или своего двоюродного брата, или мать…

Он все больше увлекался, рассказывая. Его воодушевление было заразительным. Мало-помалу и я начал входить во вкус этой сногсшибательной истории. Мысль о том, что она происходила в стране и веке, о которых я ничего не знал, меня не волновала. Напротив, мне казалось, что чем меньше я буду знать исторические и географические обстоятельства драмы, тем с большим интересом стану представлять ее перипетии. Мой пыл охладил неожиданно возникший вопрос.

– А как мы будем писать эту историю? – спросил я. – На

французском, как наши лицейские задания? Или на русском, как твоя мать?

– Ты сможешь написать роман на русском? – спросил Никита.

– Нет, конечно!

– А на французском?

– Можно попробовать…

– Тогда о чем беспокоишься? Посмотри на маму. Она до седьмого пота трудилась, написав пять романов на русском, один за другим. И никому они не были нужны! У русских писателей были, конечно, когда-то читатели – в России; но их у них нет сегодня во Франции. Мать утешает себя, говоря, что это вопрос не таланта, а паспорта. Нечего и раздумывать в этих условиях. Наш *«Сын сатрапа»* будет с первой до последней строчки французским. Согласен?

– Согласен! – сказал я восторженно, как будто увлекся на всю жизнь.

– В следующее воскресенье прочтешь мне свое начало, а я тебе прочту свое. Возьмем лучшие куски из одного и из другого. И сделаем из этого коктейль. Предупреждаю, что лично моя первая глава будет кровавой. Нужно начать с убийства советника, который будет лицемером, подлецом и трусом. У меня уже есть на этот счет мысли! А у тебя?

– Еще нет!

– Поторапливайся! Иначе я дам тебе фору! Можешь думать целую неделю…

Я пообещал завтра же засесть за работу. Мне стало вдруг так легко и весело, как будто бы я получил подарок. В самом деле, *«Сын сатрапа»* стал бесценным подарком – он обозначил цель моей жизни. Мой брат был увлечен цифрами, сестра – танцевальными па, родители – воспоминаниями о России, у меня тоже будет достойное занятие – я буду писать. Я не представлял еще себе сюжета этой фантастической истории, однако уже хотелось поскорее в тишине и уединении приняться за тщательную отделку событий. К несчастью, у меня не было собственной комнаты, как у Никиты. Мы жили вместе с Шурой – простите, Александром. И, следовательно, привыкли делать наши домашние задания, сидя рядом друг с другом.

В четыре вечера горничная Воеводовых принесла нам две чашки горячего шоколада и булочки с вареньем. Мы к ним едва прикоснулись. Размечтавшись, мы сидели друг против друга, улыбаясь и устремив взгляд вдаль. Не сознавая еще того сами, мы одновременно проглотили один и тот же наркотик. Наркотик, который называется иллюзией творчества. Мгновение спустя Никита спустился на землю. Пошел взять бумаги из маминых

запасов и вернулся с пачкой белых листков.

– Это будет наш личный резерв, – сказал он. – Будем брать по мере надобности!

И с нажимом написал посередине страницы заглавие *«Сын сатрапа»*. Затем помельче – имена авторов: «Никита Воеводов и Люлик Тарасов». Я отметил, что он поставил себя первым в перечне имен. Это было нормальным, так как идея *«Сына сатрапа»* принадлежала ему. Меня смущало другое.

– Только не Люлик! – сказал я. – Пусть будет Леон!

– Как хочешь, – уступил Никита. – Это черновик!

– Все равно!

Он покровительственным жестом похлопал меня по плечу и исправил имя. Мы болтали до самых сумерек. Сын сатрапа был с нами. Взявшись за руки, мы поклялись служить ему до последней строчки повествования, до последней капли крови наших героев. Встреча была назначена на следующее воскресенье.

– Не забудь принести то, что напишешь за это время! – сказал Никита, провожая меня в вестибюле.

Я удивился свежести и шуму улицы. В который раз я сменил страну. Метро, доставившее меня домой, соединило Персию с Россией, миновав Париж.

Встретившись с родителями, я коротко рассказал о своем посещении Воеводовых. Однако объявление главного события дня отложил. Я оставил его на более подходящий случай. И только за столом перед всей семьей, собравшейся к ужину, сказал наконец о том, что я и Никита решили вместе написать роман. Родители восприняли новость, снисходительно улыбнувшись. Брат проворчал: «Почему бы нет, если уж так хочется?» А чопорная, как обычно, м-ль Гортензия Буало заметила: «Я надеюсь, это не помешает учебе?» Что касается сестры, то она захотела узнать, есть ли у нас уже название. Я с гордостью объявил:

– Да, это будет *«Сын сатрапа»*.

На лицах присутствующих мелькнуло сомнение. М-ль Буало спросила:

– Что такое «сатрап»?

Ее вопрос удивил меня. Можно ли представить себе, чтобы моя гувернантка, которую я до сих пор считал кладезем знаний, не знала значения этого слова? Признавшись в этом пробеле, она упала в моем мнении. Я тешил свое самолюбие, с удовольствием поясняя ей, что сатрапом – как это каждый знает – назывался в стародавние времена персидский сановник. Она принужденно улыбнулась, оказавшись в неловком положении. Именно в этот момент я вспомнил – бог знает почему? – тот Новый год в Москве незадолго до нашего бесконечного бегства из России.

Сидя в углу заснеженного двора, м-ль Гортензия Буало, брат и я смотрели на сестру, игравшую с соседскими мальчишками в кегли. Неожиданно тяжелый деревянный шар, который она собиралась бросить в девять стоявших в нескольких метрах мишеней, выскочил у нее из рук и ударил м-ль Буало прямо по голове. Она рухнула на землю без чувств. Вокруг нее тотчас засуетились с полотенцами, компрессами, флаконами нюхательной соли. Мало-помалу она пришла в сознание. Рана была неглубокой. Вызванный врач оказал ей более серьезную помощь. Обработав и перевязав рану, он объявил, что женщина вне опасности. Однако она потеряла много крови, поэтому голова ее была забинтована до самого глаза. На лице мадемуазель застыло мученическое выражение. Перед самым этим происшествием родители, недовольные ее службой, собирались расстаться с ней. А теперь об увольнении не могло быть и речи. Вся семья Тарасовых стала неожиданно виноватой. Мы едва не убили швейцарскую гувернантку и не имели морального права ее увольнять. Однако повод представился под другим предлогом. Заставив м-ль Буало признаться, что она не знала, что такое сатрап, я неожиданно ударил ее по голове так же, как это когда-то сделала Ольга, играя в кегли. Ее репутация гувернантки была сильно поколеблена моим оставшимся без ответа вопросом, и она не могла прийти от этого в себя. Я ее окончательно выгнал – так я во всяком случае думал, – и мне стало от этого очень стыдно. После того, как я пожелал, чтобы она ушла от нас, я стал надеяться, что она останется еще на несколько лет. Хотя бы до того, как я стану «баком»[5]. Провинившись и сердясь на себя за это, я уже искал ее одобрения. Однако нужно ли было мне ее прощение?

– Вам нравится это заглавие, мадемуазель? – спросил я.

– Какое заглавие?

– *«Сын сатрапа»*.

Она приняла это за очередную дерзость и ответила сухо:

– Настоящие писатели заботятся прежде о содержании, а потом уже ищут название.

IV. Два пожара

Как назло, на следующей неделе нам задали много устных и письменных уроков, которые не позволили мне по-настоящему заняться *«Сыном сатрапа»*. По мере того, как приближалось воскресенье, я все с большим страхом думал о том, что предстану перед Никитой с пустыми руками. К счастью, в субботу мне удалось, разделавшись со всеми заданиями, заняться нашим романом. Но увы! Как ни старался я украсить его новыми приключениями, у меня ничего не получалось. Брат, как обычно, занимался после ужина в нашей комнате. В нарукавниках, с взъерошенными волосами и мелком в руках он выстраивал цифры и буквы на черной доске, которую родители подарили ему в день шестнадцатилетия. В то время, как «икс» и «игрек» чередовались на темном фоне доски, белая страница, лежавшая у меня перед глазами, безжалостно опустошала мой мозг. Все, что я сумел сделать до этого времени, так это выбрать имя нашего сатрапа. Его будут звать Артем, как нашего черкесского сторожа в Москве, у него будет такая же бородавка на левой щеке. Я также окрестил его сына Чассом в память о другом черкесском слуге, которого я очень любил и который присматривал за нашей усадьбой в Кисловодске на Кавказе. Увлекшись, я представлял, что сатрап Артем будет влюблен в невесту своего сына Часса и что та, как и моя бабушка, будет носить странное имя Улита. Все это, с моей точки зрения, звучало достаточно экзотично для того, чтобы сойти за арабское, или турецкое, или персидское. Я был также очень доволен тем, что придумал соперничество между отцом и сыном. Этого как раз хватит на две или три главы. Изложив в десяти строчках ход событий, я пошел спать, надеясь, что завтра Никита поздравит меня с этим первым вкладом в наше совместное сочинение.

Пока я спал, мама хлопотала, подгоняя мне по росту старые бриджи Александра. Привыкший носить одежду брата, когда она становилась ему мала, я был счастлив оттого, что мог прийти в Воеводовым в бриджах, достойных настоящего подростка. Проснувшись, я увидел, что мама заканчивала переделывать эту главную вещь моего гардероба. Валявшиеся в беспорядке катушки, иголки, кусочки ткани свидетельствовали о ее усердии. Во рту у нее были булавки, в руках – ножницы. Когда я вошел, она подняла от работы глаза. Я удивился тому, что они светились той же спокойной гордостью, какую я видел в глазах г-жи Воеводовой, когда она заканчивала читать нам первые страницы своего романа.

Мне неожиданно вспомнились далекие времена, когда в Москве, сидя на маленькой скамеечке у ног мамы в ее комнате, обитой светло-голубым дамасским шелком, я играл с мотками разноцветной шерсти, в то время как она, склонившись над сложной вышивкой, рассказывала мне разные невероятные истории. Это были приключения Конька-Горбунка, чудесной Золотой рыбки, колдуньи Бабы-Яги, избушка которой стояла на курьих ножках… Я знал эти сказки наизусть, однако дрожал от страха, слушая как мама пересказывала их в сотый раз. Мне казалось, что разноцветные нитки в ее пальцах странно сочетались с загадочным звучанием ее голоса. Рядом с ней я чувствовал себя под защитой и в то же время трепетал, оказавшись в магической власти ее слов. Мне думалось, что она могла бы написать роман не хуже, чем г-жа Воеводова. Почему она этого не сделала? Наверное, в нашей неспокойной жизни не нашла времени для того, чтобы уединиться с листком бумаги и записать мысли, приходившие ей в голову? Домашнее хозяйство, нехватка денег, кухня, заботы о семье поглотили ее целиком. Однако, может быть, она надеялась, что перо в руки вместо нее возьму я? Может быть, мне назначено было заменить ее в мире фантазии и сочинений? Я едва сформировал эти пророческие мысли, как мама, протягивая переделанные бриджи, объявила мне, как всегда спокойно улыбаясь:

– Вот, Люлик! Я сделала от души! Думаю, подойдет!

Примерка подтвердила ее слова. Переделывать не надо. Точь-в-точь. Мама заставила меня пройтись взад-вперед, чтобы рассмотреть работу как следует. Оценивая себя в зеркале, я думал, что, в сущности, мне прежде всего хотелось бы понравиться ей. Благодаря ей я был одет как принц. И мне больше не было стыдно предстать перед элегантными людьми с улицы Спонтини.

…Никита ждал меня в своей комнате. Я удивился тому, что он не сделал мне комплимента по поводу бриджей. Конечно, он привык к такой одежде мальчиков нашего возраста и не заметил ее на мне. Передавая ему написанное накануне, я надеялся, что его заинтересует, если не одежда, то хотя бы то, что я сочинил. В самом деле, он признал, что идея сына сатрапа, который до такой степени завидовал своему сыну, что хотел украсть у него невесту, была хорошей драматической исходной точкой, однако боялся, как бы это сентиментальное осложнение не увлекло роман в сторону мелодрамы.

– Расскажем историю, придуманную мамой! – сказал он.

И прочитал свою собственную версию вводной главы. С первых строчек мы погрузились в ужас. Сатрап послал одного из

своих сбиров[6] шпионить за сыном, которого ненавидел и боялся из-за того, что его популярность могла угрожать его власти. А сын, обнаружив отцовского эмиссара за шторой, перерезал ему саблей горло. До этого мгновения все в развитии событий казалось мне правдоподобным. Однако, чтобы усилить драматический эффект сцены, Никита вообразил, что наш герой, озверев, продолжал колоть свою умирающую жертву. Кровь хлестала изо всех ран и собиралась в лужицу на каменном полу. Лужица ширилась на глазах, выходила под дверь, растекалась в прихожей. Боясь, как бы другие приближенные князя, увидев лужу крови, не схватили и не арестовали его, сын сатрапа, красивый, как солнце, и отважный, как лев, сорвал с себя рубашку и заткнул ею зазор под дверью, остановив таким образом поток.

– Кажется, слишком много крови, – произнес я осторожно.

– Как раз столько, сколько нужно! – возразил Никита невозмутимо. – Если ты против ужасов, то рискуешь разочаровать читателя!

Почти согласившись, я спросил, будут ли, как он думает, другие преступления в книге.

– Сколько угодно! – ответил он. – Преступления и любовь – хороший рецепт!

Что касается преступлений, то я мог бы, хотя и никогда не совершал, без труда описать их; что же касается любви, то здесь некомпетентность обязывала меня быть осторожным. Ведь не тайное же прикосновение рук и не украденный у девочек поцелуй должны были вызвать в моем воображении те чувства, о которых говорил Никита. Однако я постеснялся признаться ему в сомнениях, которые выдавали во мне недостаточно сведущего автора. Разве не в том состоит главное качество настоящего писателя, что он умеет рассказать обо всех чувствах, не испытав ни одного. Чтобы доказать ему мое желание сотрудничать, я назвал имена, которые придумал для наших героев. Он одобрил их и в свою очередь показал мне фотографию актрисы Лилиан Гиш в журнале.

– Вот какой мне видится твоя Улита, – сказал он.

Рассматривая портрет этой незнакомки с роковым взглядом и приоткрытыми как при вздохе после обморока губами, я машинально попытался представить себе сцену нежности между нею и ее женихом Чассом. Меня смущало то, что она получила теперь конкретное лицо. Однако мысль о любовной встрече героев, которые обретали реальные образы, не была мне неприятна. Я улыбнулся привидениям. Потом вдруг смутился и покраснел, как будто Никита застал меня за недостойным занятием.

– Тебе нужно смотреть на фотографии, чтобы представлять события? – спросил я.

– Да, – сказал он. – Это помогает!

Фото Лилиан Гиш, как это ни странно, напомнило мне фотографии других актрис, тех, что исполняли роли в фильме *«Ради женской улыбки»*. Звезда старого папиного фильма была не менее красива, чем та, которую показывал Никита, однако ей не удалось помешать провалу.

– Я не доверяю фотографиям, – пробормотал я. – Мне нравится больше то, что я вижу в своей голове, чем картинки в журналах!

У нас не было времени обсудить этот серьезный вопрос – горничная, как и в прошлое воскресенье, уже пришла пригласить нас на традиционный обед. В столовой, где царствовали родители Никиты, я вновь увидел белоснежную скатерть, букет лилий в центре стола, ополаскивательницы для пальцев с розовым лепестком и красивые серебряные подставки, которые очаровали меня в мой первый визит. Я сожалел, что они были осуждены украшать застолье многочисленного семейства Воеводовых, в то время как я с удовольствием бы поиграл ими «в лошадки». На этот раз с нами за столом были Анатолий и Лили, русский сводный брат и невестка-француженка моего друга. Они показались мне веселыми, разговорчивыми и немного заурядными. Анатолий – солидный, коренастый, с прямыми черными во лосами и зычным голосом – с удовольствием говорил о себе, делясь самыми незначительными подробностями своей поездки в качестве торговца шампанским по Франции. В то время как он ораторствовал, еда перед ним остывала, и нужно было его ждать, чтобы сменить тарелки. Время от времени он отпускал довольно пошлую шутку, и его жена хохотала первой. Этот человек был явно доволен собой и имел в голове запас острых словечек, анекдотов и шуток, которые заменяли ему интеллект. Я же, кто не способен сказать на публике трех слов, завидовал его непринужденности и бойкости. Благодаря неиссякаемому красноречию брата Никиты обед затянулся. Было уже поздно, когда мы встали из-за стола.

Когда мы вернулись в комнату Никиты, я сказал ему, что нашел Анатолия и Лили очень симпатичными.

– Да, – сказал он. – С ними не соскучишься. Я, кстати, хочу прочитать им *«Сына сатрапа»*.

– Подожди хотя бы до тех пор, пока закончим первую главу!

– Это может затянуться!

– Спешить некуда! Чем больше будем над ней работать, тем лучше получится!

Объявив эту мудрую максиму, я подумал: а не искал ли я повода для того, чтобы оставить нашего *«Сына сатрапа»* в стадии проекта. Пока задумываешь историю, рассуждал я, имеешь право принять ее за шедевр. А когда пишешь – рискуешь испортить. Тем не менее под давлением Никиты я согласился наметить с ним продолжение романа. Он хотел во что бы то ни стало усложнить с самого начала историю описанием пожара.

– Зачем пожар? – спросил я.

– Точно не знаю, – сказал он. – Но, думаю, это необходимо для того, чтобы рассказ с первых же страниц стал захватывающим. Только я никогда не видел пожара. Боюсь запутаться в деталях! А ты видел?

– Да… Но очень давно… Помню смутно…

Я вдруг вспомнил смятение в тот вечер в Москве. Прибежавший слуга объявил, что загорелась конюшня. Мне или пять, или шесть лет… Я и теперь еще вижу движение черных силуэтов перед дверью охваченного пламенем здания, ведра с водой, которые передают из рук в руки в ожидании приезда пожарных. Конь Ольги стоит на конюшне. Она бросается в огонь, чтобы вывести его оттуда. Папа, конюх, сторож не успевают ей помешать, она появляется невредимая, сияющая, держа за узду испуганную лошадь. У Буяна обезумевшие от страха глаза, из рта капает пена, дрожат ноги. Все поздравляют Ольгу с мужественным поступком. Родители умоляют ее не рисковать так в другой раз. Она, смеясь, соглашается. Она гладит морду Буяна, который мало-помалу успокаивается. Огонь погашен, можно идти спать.

Рассказывая *мой* пожар Никите, я отмечал, что с удовльствием воспроизводил в памяти то время, когда моя сестра, совсем еще юная, увлекалась лошадьми. И вот эта страстная наездница стала танцовщицей, столь же увлеченной хореографией, как когда-то конным спортом. Как случилось, что она без сожаления сменила ремешки для стремени и уздечку на пачки и атласные туфли с жесткими носками? Не ждет ли и меня подобная метаморфоза: мечтая покорить читателей романом *«Сын сатрапа»*, я могу закончить, как Анатолий, продавцом шампанского? Впрочем, может статься, что моя судьба будет еще менее завидной! Я прекрасно представлял себя тем, одетым в лохмотья бродягой, которого случайно увидел однажды утром под мостом в Нейи с бутылкой красного вина и чесоточной собакой, лежавшей возле ног. Все падения возможны, когда ты – эмигрант! – думал я, не очень в это веря. Никита отвлек меня от этих пессимистических мыслей, объявив, что *мой* пожар, как он думает, поможет «придать остроту» повествованию.

– Лошадь невесты из огня должен непременно спасти Часс, – объявил он.

– Как хочешь, – сказал я, сожалея, что это сделает не моя сестра, как в моих воспоминаниях.

От меня требовался вымысел, но я с сожалением думал о реальных фактах. Мог ли так сомневаться начинающий романист? В то время, как я задавал себе этот вопрос, в памяти всплыла другая катастрофа. Огонь с конюшни, будто раздуваемый порывами ветра, переметнулся дальше, через годы. Только на этот раз опасность угрожала не лошади, а всей нашей семье.

Ночь на железнодорожном вокзале во время нашего нескончаемого бегства через всю Россию. Зажатые в вагоне для скота посреди бедно одетых людей с озлобленными лицами, тоже бегущих от большевиков, мы, ссутулившись, молчим, в надежде на то, что нас не тронут до конца поездки. Неожиданно раздается хриплый голос: «Горим!» Языки пламени пробиваются через зазоры закрытых дверей. Случилось то, что должно было случиться: искры, образовывавшиеся от трения колес и плохо смазанной оси, подожгли выбившуюся сквозь щели пола солому подстилки. Огонь, раздуваемый ветром скорости, конечно, быстро распространится дальше. Через несколько минут весь вагон будет охвачен огнем, как факел. И нечем подать сигнал тревоги! Я и теперь еще вижу суровые, искаженные страхом незнакомые лица. Слышу стон человеческого стада, которое идет не на бойню, а на костер. Кто-то яростно стучит по стенкам вагона, как будто его могут услышать снаружи. Другие молча, обреченно становятся на колени и молятся. Нас охватывает нестерпимая жара и едкий запах дыма. Мама вслух причитает – она в отчаянии, что в эти трагические мгновения с нами рядом нет папы. Его в качестве ценного заложника – «эксплуататора пролетариата» – едва не схватили агенты ЧК. Он должен был бежать, наказав нам догнать его в Харькове, который еще оставался в руках белых. Потеряв своего привычного предводителя, семья стоит безропотно и обреченно. Вдруг мама, опомнившись, подбегает к Шуре, срывает маленький детский свисток, который как украшение висит на воротничке его морского костюма, и что есть мочи свистит. Ее жалкий зов теряется в грохоте колес и свисте разрываемого скростью воздуха. Я настолько ошеломлен необычностью происходящего, что плохо сознаю опасность, угрожающую нам. Неужели можно поверить в то, что мы заживо погибнем, сожженные в сотнях верст от Москвы, среди всех этих ничего не значащих для нас людей? Я не могу понять ни почему рыдает мама, ни почему м-ль Буало трагически стиснула зубы, ни почему

бабушка бормочет по-черкесски. Все это настолько нереально, что похоже на кошмар, а, может, на спектакль. Я не реагирую то ли потому, что не понимаю, что происходит, то ли потому, что совершенно хладнокровен. Я жду развития событий, пожалуй, больше с нетерпением, чем со страхом.

Но неожиданное чудо! Поезд начинает тормозить и останавливается на запасном вокзале; снаружи суетятся люди, открывают двери, гасят огонь, помогают чудом уцелевшим людям выйти. Мы друг за другом покидаем пекло. Бабушка, которую поднимают и несут на руках мужчины, возмущается:

– Осторожно! Вы порвете мою шубу!

Она все еще не поняла, ни где мы, ни чего хотят от нас эти странные, кричащие люди, ни куда они нас ведут. Я – тем более. Жив ли я? И так ли важно, что я жив? Пострадавший вагон отцепляют и заталкивают нас в другой вагон для скота, к другим беженцам, которые возмущаются, так как должны потесниться, чтобы освободить нам место. Поезд отправляется ночью. Как бы то ни было странно, но этот новый вагон не сгорит, не сойдет с рельсов, и мы без труда доедем до Харькова. Там мы встретим папу, расскажем ему об опасности, которую нам только что удалось избежать, и он пожалеет нас, охватив своими большими, сильными руками. Вспомнив ради Никиты этот драматический эпизод нашего бегства, я сказал ему, как бы извиняясь за то, что говорил слишком долго:

– Видишь, я знаю, что такое пожар! Я мог бы описать его в *«Сыне сатрапа»*, если нужно…

– Да, – сказал он, – только хватит и одного пожара на конюшне! Поищем еще что-нибудь: наводнение, землетрясение…

– Жаль, – сказал я. – Если речь идет о наводнении или землетрясении, то я не смогу тебе помочь; я их не видел…

Он снисходительно рассмеялся:

– Ну и что? Разве я тебе мало повторял, старик, забудь правду, пусть говорит воображение! Это секрет успеха в литературе! Ведь мама только и делает, что выдумывает…

Ссылка на госпожу Воеводову показалась мне малоубедительной. Однако возможности поспорить у меня не было: в дверь постучали Анатолий и Лили. Они уходили в кино и предложили нам пойти вместе с ними. Никита сказал, что предпочитает остаться дома, чтобы поработать со мной над *«Сыном сатрапа»*. Так как они не поняли, о чем идет речь, то мы посвятили их в свой план. Они удивились, улыбнувшись, и тем не менее посоветовали нам смело погрузиться в иллюзию.

– Вперед, цыплята! – сказал Анатолий. – Кто не рискует, тот ничего не получает! Уверен, что вы состряпаете что-нибудь

потрясающее! Ведь мы живем в республике. Каждый делает, что он хочет, или то, что может… Да здравствует Франция, ведь России больше нет!

Его жизнерадостная глупость меня раздражала. Однако она не очень отличалась от насмешливой снисходительности моих родителей. Из чего я сделал вывод, что с определенного возраста, люди, как правило, скептически относятся к искусству. Может быть, творческое вдохновение раз и навсегда запрещается взрослым? И коли в твоей голове родилась хорошая идея, то нужно воспользоваться отсутствием опыта, чтобы воплотить ее в жизнь. Когда слишком долго рассуждаешь, когда взвешиваешь все «за» и «против», теряешь чувство новизны. Только хватило бы времени закончить *«Сына сатрапа»* прежде, чем поймем, что игра не стоит свеч!

Не договариваясь, Никита и я, охваченные неожиданным соперничеством, устроились бок о бок за его рабочим столом, чтобы помочь сделать первые шаги *«Сыну сатрапа»*. Однако он не хотел держаться на ногах. Сравнивая наши задумки, мы обнаруживали, что предложения не выстраивались в рассказ, а эпизоды следовали друг за другом, не подчиняясь логике. Скорее всего, не так пишут книгу «профессионалы». Не переоценили ли мы свои силы? Никита так не думал.

– Нужна писательская сноровка, – сказал он. – Главное, не отчаиваться из-за первой неудачи. Похоже, что настоящие писатели работают месяцами, прежде чем поймут, как придать вкус своей стряпне. Ну вот, видишь, что нам остается теперь делать? Корпеть и корпеть! Ты переделаешь дома то, что мы здесь «родили», а я тем временем придумаю продолжение…

Я ушел от Никиты, пообещав ему перечитать наше начало с пером в руках и принести ему в следующее воскресенье выправленную копию. Чтобы ободрить меня, он сказал на прощание:

– Не сомневайся! Верю, что мы ухватились за верную ниточку.

Мне тоже хотелось бы в это верить.

Я вернулся домой задолго до ужина. Все домашние занимались своими делами. Александр, закрывшись в нашей комнате, сражался с цифрами и алгебраическими упражнениями; Ольга задерживалась на репетиции своей маленькой балетной труппы и должна была вернуться поздно вечером; мама чинила в столовой под люстрой носки. Сидевший рядом с ней папа разложил на столе кучу русских бумаг. Несмотря на ряд неудач, он еще надеялся – при условии маловероятного изменения строя – вернуться в Москву и получить назад свое состояние. Акты

былых продаж, устаревшие контракты, просроченные признания долгов, аннулированные банковские счета, никому не нужные отчеты совещаний администрации – все эти документы, которые от тщательно, жадно просматривал, поддерживали в нем надежду, помогавшую выживать.

После десяти проигранных в Европе и США процессов, благодаря которым он рассчитывал вернуть те немногие деньги, которые прямо перед бегством из России попытался надежно вложить, он утешал себя, как мог, перебирая в сотый раз мертвый архив. Перечитывая эти бумаги, которые потеряли всякую цену, он будто бы на несколько часов брал верный реванш. Это была его собственная игра в *«Сына сатрапа»*. Он казался мне смешным от того, что упрямо ворошил стопку ненужных листков, и в то же время мне хотелось обнять его, попросить у него прощения за то, что я был молод и не страдал так, как он, потеряв родину.

Рядом с мамой, которая работала иголкой, стараясь не сбиться с головки для штопки, и папой, который не уставая пересчитывал несуществующие рубли и просроченные сертификаты, я чувствовал себя дважды изгнанником. Я был оторван от моей истинной родины. И в то же время жил вне реальной жизни. Я плавал между двумя мирами. И символом этой нездоровой неопределенности был мой отец, склонившийся над десятком документов, которые уже никого не интересовали. Он раскладывал их перед собой как пасьянс. Он, наверное, надеялся на выигрыш при условии, что сможет разложить все карты для него верно?

Только мама, которая ушла на кухню готовить ужин, отвлекала его от созерцания. Вслед за нами накрывать на стол пришел Александр. Папа торопливо уложил свои бесценные документы в шкаф и закрыл его на ключ, будто прятал туда свое состояние. Ужин состоял, как каждое воскресенье, из борща и гречневой каши. Все было так вкусно! Как при этом не подумать, что он был еще одним напоминанием о родине? Не имея возможности вернуться в Россию, родители утешали себя тем, что говорили на русском, читали на русском, пили по-русски, ели по-русски. Я тоже, естественно, был рад гастрономическим переменам. Однако, как мне думалось, честь, воздаваемая русской кухне, должна была иметь свои границы. Съев последний кусок, я больше не буду о ней думать. Я вернусь во Францию. Они же, напротив, опорожнив свои тарелки, продолжат путешествия в воспоминаниях. После еды воспоминания. Вся разница была в этом. И она имела силу приговора самой жизни.

В половине одиннадцатого вечера папа пошел встречать Ольгу из студии, где она репетировала будущий балетный

спектакль. Он не позволял ей возвращаться одной в столь поздний час. «Как только загораются фонари, – говорил он, – город не существует для женщин». Впрочем, в Москве он не разрешил бы ей и подняться на подмостки. В Париже это можно было себе позволить. Даже столь необычная профессия классической танцовщицы считалась здесь достойной.

Я неожиданно подумал, что в Персии, должно быть, тоже были танцовщицы. Сестра когда-то говорила мне о некоей Саломее, которая в награду за свои самые грациозные движения получила голову Святого Иоанна Крестителя. Ольга знала эту историю, так как на ее сюжет был поставлен знаменитый балет. Но Саломея, по преданию, была еврейской, а не персидской царевной. А это была немаловажная деталь! Вдохновляясь, я решил сделать из моей героини Улиты изящную танцовщицу. Она спасет лошадь из княжеской конюшни, и несколько дней спустя сама погибнет в огне пожара, который охватит дворец. Два пожара в одной главе. Никита будет очень доволен такой двойной развязкой.

Обрадовавшись новой идее, я дождался возвращения папы и Ольги, и, устроившись вместе с сестрой на кухне, заговорил с ней о Саломее, пока она перекусывала. Я хотел, чтобы она просветила меня по части традиционных танцев в той стране в то далекое время. Однако она лишь ответила, что мало смыслит в этом. Но не сомневалась в том, что девушки-персиянки были так же способны, как и молодые еврейки, очаровывать зрителей своими грациозными движениями. Этого было достаточно. Мне показалось, что продолжение их приключений больше не зависело ни от меня, ни от Никиты. Разве не было это хорошим знаком для их загадочного будущего и для нашего будущего в писательской профессии?

V. Танцы! Танцы!

– Я придумал еще один потрясающий случай! – сказал Никита.

Он, как одержимый, охотился за «случаями». И каждое воскресенье добавлял к ним новый. Я должен был сдерживать его для того, чтобы жизнь нашего сатрапа и его сына не превратилась в серию катастроф. Чего тут только не было – пожары, воровство, убийства, похищения, аресты, драки. Никита был неистощим. Он видел наших героев только в череде сенсаций. Что касается меня, то я скорее был склонен к сентиментальным откровениям и переживаниям. Кто из нас двоих был на верном пути? Не знаю, но, устав от бесполезных споров, мы обычно останавливались на компромиссе между двумя противоположными особенностями наших характеров, сочетая неожиданности, которые преподносит судьба, с сердечными коллизиями. Результатом было то, что наша история – я понимал это с течением времени – неуверенно, но продвигалась вперед. В этот раз, приготовившись к новым открытиям, я спросил своего друга скептическим тоном:

– Ну что, давай! Какой у тебя сегодня потрясающий случай?

Как старатель, который черпал из открытой им только что золотой жилы, Никита выдал мне свою последнюю идею: в тот момент, когда сын сатрапа – неукротимый Часс – решит не подчиниться запрету своего отца и жениться на красивой и умной Улите, он во время прогулки в окрестностях дворца встретит свою старую, полуслепую няню, о которой ничего не знал с детства. Пожилая женщина разволнуется, узнав его (она еще немного видела), и откроет ему ужасную тайну. Из верных источников она знала, что Часс и его невеста были братом и сестрой.

Объявив эту новую романтическую гипотезу, Никита посмотрел на меня в ожидании одобрения. Я от удивления смог только пробормотать:

– Вздор!

– Почему же?

– В эту историю никто не поверит!

– Это не причина для того, чтобы отказываться!

– Подумай, Никита! Влюбленные накануне свадьбы узнают, что они брат и сестра. Это слишком грубо, это не пройдет, это испортит все остальное!

– А я тебе говорю, что публика проглотит это темное дело с наслаждением! Ведь в жизни встречается куда больше еще более необъяснимых, еще более странных случаев! Тебе разве никогда не приходилось увидеть что-то настолько невероятное, настолько

загадочное, что ты, прежде чем это рассказать, спрашивал себя – а не примут ли тебя за лжеца? Совпадения, недоразумения, разоблачения в последнюю минуту, удачи – да что там! Все это существует, старик! Правда состоит из невероятных вещей! Так зачем же лишать ее нашего *«Сына сатрапа»*? Ты сам мне говорил об удивительных похождениях твоих родителей во время революции. Странные вещи, которые происходили в то время, были, дожно быть, и в Персии во времена сатрапа!

– Не сравнивай, Никита! То, что произошло с нами во время бегства, не походило на случайность, в то время, как твоя няня, встретив неожиданно перед дворцом сына сатрапа, которого она потеряла из виду много лет назад и который…

Я замолчал на полуслове. В памяти всплыл давно забытый случай. Это было там же, в России, во время нашего бегства. Встретив в Харькове папу, семья, продолжая скитания по стране, охваченной войной, оказалась в Царицыне[7]. Город, расположенный на правом берегу Волги, оцеплен красными. Железнодорожные связи разорваны. Единственная возможность спастись от большевиков – сесть на пароход и спуститься по реке до того района, который они еще не успели захватить. К счастью, на причале стоит судно, которое готовится к отходу. Оно последнее. И переполнено беженцами, теснящимися в трюме и на палубе. Ни одного свободного места, даже если хорошо заплатить. Командование судна отказывается брать на борт лишних пассажиров.

Стоя на пристани вокруг сваленных в кучу вещей, мы ждем возвращения папы, который пошел искать капитана, чтобы попытаться заставить его войти в наше положение. Однако надежды мало. Темнеет. По причине близких боев все огни порта погашены. Замаскированы даже иллюминаторы парохода, который должен вот-вот отчалить. Сгущающиеся сумерки усиливают нашу тревогу. В суете грузчиков и лаянии рупора, передающего невнятные приказы, я теряю ощущение времени. На самом ли деле ночь? Почему я не в своей комнате в Москве? Может быть, я сейчас проснусь перед чашкой горячего шоколада? Неожиданно мне кажется, что момент столь же страшен для нас, как и в тот день, когда горел вагон для скота. И бабушка, сидя на узле, как тогда, перебирает четки. Это плохой знак. За бараками изредка раздаются выстрелы. Красные сейчас займут город. Мы окажемся в их лапах, как крысы в мышеловке. Пароход готовится отдать швартовы. Через несколько минут он уйдет навсегда, бросив нас на милость революционеров.

– На этот раз конец! – шепчет мама и крестит мне голову.

И в это мгновение появляется папа. Он ликует. Машет нам.

Кричит:

– Идите, быстрее! Все уладилось!

– Как уладилось? – спрашивает мама сдавленным от волнения голосом.

– Мы едем, Лидия! Помнишь Максима Степаненко? Ну, конечно же! Я тебе о нем сто раз говорил. Это мой одноклассник – украинец, с которым я познакомился в гимназии, в Москве… Мы все время учились вместе… Отличный парень! Двадцать лет прошло!… Я даже не знал, кем он стал. И вот только что, когда пошел искать капитана в кают-кампанию – кого увидел? – Степаненко! Он капитан парохода… нашего парохода… Мы бросились друг другу в объятия! Я ему рассказал все. Он берет нас на судно, в свою каюту… Мы будем там, как селедки в бочке. Но лучше уж быть несчастной живой селедкой, чем великолепным мертвым осетром!.. Быстрее! У нас времени осталось только на то, чтобы погрузиться!

Я помню, с какой радостью мы бросились к пароходу, как всемером ютились между кушеткой и умывальником в каюте капитана, прогорклый запах которой слышу и сейчас. Заведенные машины начинают сотрясать пароход. Мама вздыхает, когда он отчаливает от берега:

– Бог смилостивился над нами. В это никто не захочет поверить!

Именно эти слова я едва не сказал, чтобы убедить Никиту не вводить в *«Сына сатрапа»* малоправдоподобный эпизод! Однако я не посмел рассказать ему о чуде появления Степаненко на нашем пути. Для него это был бы еще один довод в пользу того, что все средства тем более хороши, когда речь идет только о том, чтобы удивить читателя. Напротив, мне казалось, что из уважения к чрезвычайным событиям, которые мы пережили с родителями в Царицыне, я не должен был поддержать чрезмерное воображение моего друга. Я ограничился тем, что сказал, желая умерить его пыл:

– Нужно найти кого-нибудь другого, а не старую няню, чтобы рассказать Чассу о его родстве с Улитой.

Он радостно подпрыгнул оттого, что все устроилось полюбовно:

– Тебя больше устроит, если вместо няни будет колдунья?

– Няня, колдунья, все это как-то…

– Ну нет! Этой колдунье будет разрешено входить во дворец, она расскажет приятную новость сатрапу, она будет знать все и обо всех…

Он был неисправим в упрямстве настаивать на своем. Устав бороться с ним во имя правдоподобия, я недовольно сказал:

– Как хочешь… Впрочем, этот «потрясающий случай» не хуже других. Попробуем заставить его проглотить вместе со всем остальным…

В тот день мы работали меньше обычного, ограничившись тем, что переписали черновик, сделанный на предыдущей неделе. Мы обдумывали каждую фразу, обсуждая слова; потом я старательно записывал ее на одном из листков, которые дала нам г-жа Воеводина. Эта секретарская работа сглаживала мою досаду. Я спрашивал себя – почему Никита никогда не рассказывал о происшествиях, которые случились с ним во время бегства из России, тогда как мне самому мои собственные странствования вспоминались часто. Когда я задал ему этот вопрос, он небрежно ответил:

– Для нас все обошлось без историй. Как всегда папа выпутался без труда. Он знал, кого подмазать! До Новороссийска мы ехали, как князья. И только на той посудине, где я познакомился с тобой по дороге в Константинополь, я понял, что нам угрожала опасность. Ну вот, видишь, если я хочу пошевелить мозгами, мне не надо вспоминать, я должен выдумывать!

После того, как мы закончили, он захотел показать плоды нашего совместного труда брату и невестке. Однако Анатолий колесил по провинции, пристраивая шампанское. Мы отыгрались на Лили. Это был как раз день ее еженедельного визита к родителям мужа на улице Спонтини. Она, должно быть, очень скучала с ними, так как, не раздумывая, приняла наше приглашение. Мы переписали начисто только семнадцать страниц нашего романа. Тем не менее решили, что этого было достаточно для того, чтобы она могла составить себе общее представление.

Лили пришла к нам в комнату, и Никита начал ей читать вслух. Слушая его, она улыбалась чему-то своему и ловко работала пилочкой для ногтей. Она явно была больше озабочена элегантным видом своих рук, нежели бедами сына сатрапа. Из чего я сделал вывод, что несмотря на «потрясающие случаи», которыми так дорожил Никита, наш роман наводил на нее смертельную скуку. Когда он замолчал, перевернув последнюю страницу, она лениво сказала:

– Неплохо…

Но тут же добавила:

– Для вашего возраста!

Что испортило все! Немного разочарованный этой уклончивой оценкой, Никита принялся рассказывать ей драматические перипетии, которыми мы собирались украсить продолжение. Она показала знаками, смеясь, что тонет в этом бурном потоке катастроф. У нее были сильно накрашенные губы.

И, казалось мне, глаза тоже по сравнению с глазами мамы и Ольги.

– Не хватит ли вам всех этих ужасов? – сказала она, наклоняя голову, чтобы лучше следить за тщательной работой пилки и щеточки при полировке ногтей.

Вместо того, чтобы возразить со своей обычной уверенностью, Никита, как бы извиняясь, пробормотал:

– Да нет… Это как полировка ногтей… Можно занять время…

Она посмотрела на нас с большим вниманием, как будто бы видела в первый раз:

– Странно для мальчиков вашего возраста развлекаться сочинением книг! – заметила она.

– Но мама ведь тоже пишет! – возразил Никита.

– Да, только мама твоя много пожила…

– Она рассказывает не о том, что пережила, она выдумывает!

– Может быть. Однако у нее есть опыт, она знает то, о чем говорит… Это чувствуется даже тогда, когда она придумывает необычные истории… В то время, как у вас…

Она не закончила фразы.

– Что у нас? – спросил Никита неожиданно агрессивно.

– Да у вас все, все… все – пустое… неизвестно что… В жизни есть и другие интересные вещи, кроме сочинения книг…

– Что же, например? – спросил Никита.

– Не знаю… Спорт, кино, девочки…

Никита пожал плечами:

– Одно не мешает другому.

– Может быть, и так! – сказала она, погрозив нам пальцем. – Спорю, что ты даже не умеешь танцевать, Никита!

– Кажется, немного могу, – сказал с раздражением он. – Ты ведь мне уже показывала.

– Этого недостаточно! А вы, Люлик!

– Нет, – признался я. – Я не умею.

И, бог знает почему, посчитал необходимым уточнить:

– Моя сестра – танцовщица…

Лили, казалось, была тронута этими откровениями больше, чем всеми откровениями *«Сына сатрапа»*.

– Она старше вас, я догадываюсь?

– У нас девять лет разницы.

– И какими танцами она занимается?

– Классическими… Балетом… Она входит в состав труппы… Ее можно увидеть на сцене в «Атена Палас». Ее номер идет в антрактах…

– Вы видели этот спектакль?

– Раз или два.

– Вам понравилось?

Мне хотелось быть искренним.

– Вы говорите то же, что и я, по поводу вашего *«Сына сатрапа»*, – заметила она иронично, не отводя от меня глаз. – Нужно уметь танцевать уже в молодости. Иначе заржавеешь, пройдешь в стороне от лучшего в жизни. Если хотите, я вас научу… Не классическим танцам, конечно, современным… Тем, что танцуют сегодня, и даже будут танцевать в будущем!

Она все больше оживлялась, разговаривая. Мне показалось, что с ней одной – такой живой, такой уверенной – в комнате Никиты появилось десять бойких, озорных женщин. Мы не успели и возразить, как она увлекла нас в пустующую гостиную, повернула ручку фонографа, поставила на диск пластинку и объявила:

– Это мой любимый фокстрот! Давай, Никита!

И властно увлекла его в быстрые, ритмичные движения. В то время, как он неловко двигал рядом с невесткой ногами, она короткими кивками головы отмечала такт. Ее бедра, ее живот сладострастно вторили изменению музыкальных интонаций. Лили казалась мне вызывающей, Никита – смешным. Они щеголяли так передо мной до конца мелодии. Потом Лили вновь завела фонограф, поменяла пластинку, и, повернувшись ко мне, приказала:

– А теперь вы, Люлик!

Я осторожно взял ее руки в свои. Чуть ощутимый жар исходил от нее через одежду. Ее духи, запах которых я до сих пор не замечал, начали кружить голову. Я уже не знал, что заставляло меня танцевать – музыка или это излучение – благоухающее, теплое – женского тела, плывшего рядом с моим. Забывшись, я позволял вести себя шаг за шагом, в такт томного блюза. И когда сбивался с ритма, Лили поправляла меня с терпеливой заботливостью старшей сестры. Однако она не имела ничего общего с моей настоящей сестрой. Ольга была хрупкой, бесцветной, пресной, в то время как в Лили я угадывал особу, ищущую острых ощущений и развлечений. Ольга не была женщиной. Лили была всеми женщинами сразу. Это мешало мне продолжать танцевать с ней. Когда наши глаза неожиданно встречались, я был счастлив и в то же время смущен. Казалось, она хотела заставить меня победить мою робость тем, что мешала анализировать происходящее. Я ее начинал ненавидеть, не зная почему. Я с нетерпением ждал последних тактов этого дьявольского блюза. Когда диск остановился, я отдернул руки, освободившись от Лили, вернувшись наконец в свой возраст. Она отошла от меня, как ни в чем не бывало:

– Ну вот, видите, Люлик, не так плохо для начала…

Ее банальный комплимент обрадовал меня, и я рассердился на себя за это. Потанцевав со мной, она вернулась к Никите. На этот раз их движения под звуки музыки, исполняемой синкопами, показались мне менее смешными. Однако, смотря на друга, старавшегося очаровать свою невестку развязными, скользящими па, я поймал себя на том, что жалел о наших дружеских спорах вокруг *«Сына сатрапа»*. Я почувствовал, как от чего-то очень дорогого вдруг потеплело на сердце – от воспоминания о *«Сыне сатрапа»*– может быть; а может быть, от дружбы с Никитой…

В гостиную, привлеченная звуками джаза, вошла г-жа Воеводова. Стоя рядом со мной, она смотрела, как танцевали ее сын и невестка, и, казалось, была очень довольна. Как будто бы, глядя на них, вспоминала о своей молодости. А когда они закончили, захлопала:

– Очень хорошо, очень хорошо, Никита, мой дорогой! Ты делаешь успехи! Так ведь, Лили?

Они, улыбаясь, пожали друг другу как актеры руки. Представление было закончено. Каждый должен был вернуться на свое место в доме. Однако во мне продолжало жить беспокойство, которое я не умел ни проанализировать, ни победить. У меня сдавило горло, как на похоронах моего школьного товарища, умершего в прошлом году от менингита. Когда мы поднялись в комнату, Никита предложил продолжить работу над *«Сыном сатрапа»*. Я сказал, что уже очень поздно, что меня ждут родители, и ушел, не договорившись о встрече в следующее воскресенье.

VI. По указанному адресу не проживает

Так каждый год, мы дважды праздновали в кругу семьи Рождество: первый раз – 24 декабря, по французским обычаям, из простой эмигрантской вежливости; второй – 6 января, по-русски, согласно традициям предков. Так как у юлианского календаря тринадцать дней разницы с календарем григорианским. В тот второй вечер после богослужения семейный ужин показался мне божественным. Мама превзошла себя в приготовлении двух огромных кулебяк, одной – с капустой, другой – с рыбой, нежное тесто которых таяло во рту. Кроме водки, на столе стояла бутылка пенистого вина. Хотя мне, ввиду моего возраста, было запрещено прикасаться к спиртному, я попробовал оба напитка, сопровождавшие праздничное застолье.

Что касается водки, то вся семья Тарасовых должна хранить признательность этому благородному национальному напитку. Как забыть, что под Харьковом, где нас должен был ждать папа, наша маленькая группа, разместившаяся на двух телегах, нанятых у крестьян, была остановлена немецким патрулем, действовавшим в тылу у большевиков. Это произошло вскоре после подписания постыдного Брестского мира, подаренного Лениным и Троцким германской коалиции. Район, по которому мы передвигались, контролировался красными, белыми и поддерживаемыми Германией украинскими сепаратистами. В связи с начавшейся в этом отдаленном месте эпидемией испанки немецкие части взялись остановить ее распространение, установив карантин. Наше путешествие закончилось в завшивленном лагере, окруженном колючей проволокой и охраняемом часовыми. Там, на соломенных тюфяках, разбросанных прямо на земле, лежала сотня беженцев. Как и следовало ожидать, беженцы, которых испанский грипп не свалил в дороге, не могли не заразиться в этом гнилостном отстойнике. Удивительно, но в нашей группе заболели только женщины. Лежавших рядом друг с другом мать, сестру, м-ль Буало Гортензию, бабушку трясла лихорадка. Состояние мамы особенно волновало лагерного врача, прусского майора в униформе, корректного, холодного и надменного. У него не было лекарств, и он надеялся только с помощью диеты сбить температуру у своих пациентов. К счастью, санитар эльзасского происхождения, принудительно завербованный в германскую армию и говоривший немного по-французски, снабдил нас за деньги

единственным известным в том случае лекарством от болезни – водкой кустарного производства. Мама, Ольга, бабушка, гувернантка должны были пить ее полными стаканами по несколько раз как микстуру. После десяти дней такого усиленного лечения они выздоровели.

Однако по прибытии в Крым, в Ялту, когда мы думали, что окончательно бежали из большевистских тисков, на нашу долю выпали другого рода испытания. Красные части, долго сдерживаемые за Перекопом, должны были вот-вот форсировать рубеж и занять полуостров. Там вновь нашей единственной надеждой стал ниспосланный Провидением пароход. Последний, отплывавший в Новороссийск, – углегруз под названием *«Ризей»*. Мы опаздывали, но отец постарался, дал хорошие чаевые и добился того, что нас записали дополнительно в список. *«Ризей»* был старой посудиной, предназначенной для перевозки угля и стройматериалов, а не пассажиров. Весь человеческий груз, принятый на борт, теснился в трюме. Его люки были закрыты, света не было, в воздухе висела черная, едкая пыль, от запаха угля щипало в горле. Покидая порт, пароход попал в сильный шторм. Путешественники, раскачиваясь среди своих узлов и чемоданов, толкались друг о друга, стонали и испытывали бесконечные приступы рвоты. От одной группы к другой молча передавали тазы. Вся наша семья, включая папу, тоже страдала от морской болезни. Я был в состоянии близком к обмороку, когда увидел, как в темноте блеснул странный свет. Освещая сильным фонарем дорогу, расстроенный бортовой офицер пришел предупредить нас, что моряки, попавшие под влияние революционной агитации, взбунтовались, угрожая повернуть назад, чтобы высадить «бегущих буржуев» в Севастополе и сдать их большевикам.

В толпе пробегает возмущенный ропот при объявлении об этом предательстве. Все протестуют, однако никто не двигается с места, чтобы попытаться предотвратить опасность. Мы – толпа, смирившаяся со своей участью. У меня самого только одно желание – снова стать на твердую землю и любой ценой избавиться от морской болезни. Наконец папа поднимается и, превозмогая усталость, с трудом прокладывает себе дорогу сквозь толпу ослабленных, стонущих людей к тому, кто сообщил дурную новость. Он переговаривается с офицером, забирает у него фонарь и вместе с ним поднимается по лестнице, ведущей на палубу.

Некоторое время спустя папа возвращается и громко объявляет, что по его просьбе мятежный комитет согласен не сдавать заложников большевикам. Однако бунтовщики требуют

«компенсацию» в обмен на их «понимание». Пассажиры обсуждают предложение.

После нескольких минут переговоров сходятся на цифре; ругаясь, устраивают складчину; деньги сдают мужчины, и папа, набрав необходимую сумму, возвращается к мятежному комитету. *«Ризей»*, замедливший на время переговоров ход, продолжает движение сквозь шторм к Новороссийску. Папа снова садится рядом с нами. В моих глазах он – герой. Он только что – один против всех – победил армию большевиков.

В Новороссийске надо еще найти пристанище. Гостиницы переполнены. Мы расположились на ночь в освобожденной от мебели столовой роскошного отеля. И в этот раз вновь, чтобы вылечить нас от страха и морской болезни, мама посоветовала нам выпить водки. Та водка, которую покупали теперь в Париже, напоминала моим родителям прежде всего родину и молодость. Мама поделилась с близкими друзьями чудодейственным рецептом эльзасца. И папа отдавал теперь предпочтение не той водке, которая продавалась в специализированных магазинах, а той, которую он делал сам по ее рецепту. Ее и сегодня еще с удовольствием пьют у нас в особых случаях, вспоминая, конечно, о лечебных свойствах русского алкоголя. Я с сожалением думал о том, что был слишком молод для того, чтобы принимать участие в семейных застольях. Однако пообещал себе, что, как только повзрослею, отдам честь этой огненной воде, источник которой был в России. Я мечтал даже сочинить, когда стану взрослым, и после того – конечно! – как закончу *«Сына сатрапа»*, поэму во славу этого прозрачного эликсира без запаха, без цвета, согревающего и леденящего одновременно, способного вдохнуть жизнь в умирающего.

Не знаю, как это папе удалось, однако, несмотря на безденежье, каждый из нас имел в тот год право на подарок к Рождеству. Ольга получила балетные туфли, мама – пудреницу с зеркалом и пуховкой, Александр – конверт с экзотическими марками для своей коллекции, а я – ручку с «золотым пером». Наш скромный и радостный эмигрантский праздник напомнил мне другой, который мы встретили в смертельном страхе.

Это было в конце декабря 1919 года в Новороссийске после того, как сели на пароход *«Афон»*, который должен был перевезти нас в Константинополь. Только на мгновение мы смогли поверить, что бежали от преследования большевиков. Однако очень скоро пришлось разочароваться. Чаще всего плюсовая в этом южном районе России температура вот уже несколько дней держалась ниже нуля. Над городом дул ужасный северо-западный ветер, превращая его в полярный остров. Порт заковали льды. Ни

один пароход не мог сняться с якоря. Наше почтенное суденышко было до отказа набито испуганными эмигрантами. С каждым часом все ближе становились раскаты канонады. Наше будущее зависело от оттепели. Несколько градусов выше нуля – и мы будем спасены! Мама в отчаянии молилась и наконец сказала: «Я начинаю думать, что нам придется встречать Рождество на пароходе… Только бы не в лапах большевиков!» Чтобы не поддаться мрачному настроению взрослых, я присоединился к группке детей, игравших в войну. Никита был одним из самых активных участников. При распределении ролей он получил роль Троцкого – главнокомандующего красными частями; я – генерала Врангеля, героя белых добровольцев. Раскрасневшись, я громко пел *«Боже, царя храни!»* вместе с другими «маленькими буржуями», которые, подчиняясь правилам войнушки, распевали *«Интернационал»*. Одним словом, я забавлялся, сознавая в полной мере трагедию, которая для всех нас грозила закончиться гибелью. Тем временем схваченный резким ветром лед, заковавший наш *«Афон»*, таять не собирался, а революционные сообщения становились все более и более тревожными. Их каждое утро объявлял капитан парохода со своего капитанского мостика толпе дрожащих от холода и страха пассажиров.

Когда настало Рождество, мы все еще были на причале. Конечно, отсутствие продовольствия не позволяло нам встретить рождение Христа по традиции за праздничным столом. Тем не менее нам сообщили, что вечером более сытный, чем обычно, ужин будет накрыт в общей столовой. Пообещили даже подать консервированные сардины и по куску «почти белого» хлеба на каждого. Несмотря на эту заманчивую перспективу родители предпочли встретить Рождество в кругу семьи в каюте, где мы были набиты, как те сардины, которые нам обещали подать на праздничный ужин в полночь. Чтобы украсить наш скромный стол, моряки *«Афона»* продали очень дорого плитки шоколада, который раздобыли у экипажа английского эскадронного миноносца, блокированного, как и мы, в порту. Праздничный вид каюте придавали еловая ветка, поставленная в бутылку, и две маленькие свечи, зажженные посреди стола. Приказ капитана запрещал спускаться с парохода даже на рождественскую службу. Мы в целях безопасности были в заключении на борту. «Боже! – повторяла мама. – Помоги нам! Дай нам покинуть Россию! Мы не просим ничего другого – пусть только растает лед!»

Через два дня лед начал таять, медленно открывая путь в кристальном плену, который недавно заточал рейд. Команда рабочих начала кирками освобождать пароход. Моряки разрубили топорами заледеневшие канаты, державшие судно прикованным к

земле; в стальном разбуженном каркасе загудели машины; на муфтах шлюзов заскрежетали цепи, и *«Афон»*, подняв якорь, медленно вышел в коридор темной сверкающей воды. Это было еще одно спасение in extremis[8], как и в Царицыне, только на этот раз не на Волге, а на берегу Черного моря. Пассажиров, одетых в костюмы арктических исследователей, собрали на палубе. Держась за руки мамы, я с восхищением смотрел на след, образовавшийся за корабельным винтом, который превращался в длинную дорогу, поднимая то тут то там глыбы льда. Чайки кричали над этим гигантским крушением. Когда мы обошли дамбу, мама и отец молча перекрестились. Они прощались с Россией. А я, не сознавая еще того, приветствовал Францию.

Рассматривая мою новенькую ручку «с золотым пером», я думал о том, что, если бы получил этот подарок на борту старого парохода *«Афон»*, то не знал бы тогда, что с ним и делать. Только с приездом во Францию мною овладела страсть к сочинению. Кому, чему я был обязан этим необычным увлечением? Волнующему ли климату страны, которая была для меня чужой; дружбе ли с мальчиком, который, кстати говоря, ходил в другой, нежели я, лицей и жил в достатке в то время, как мои родители едва сводили концы с концами; чтению ли книг, которые мне не следовало бы еще знать; или же просто неудержимой потребности придать форму туманным вымыслам, рождавшимся в моей голове? Как бы там ни было, но я обновлю ручку, добавив несколько строчек к «Сыну сатрапа».

Я наивно верил, что золотое перо обогатит мои мысли и мой стиль. Однако скоро убедился, что оно вряд ли может мне помочь. Ручка не несет ответственности за бездарность писателя. Мне достаточно будет и простого пера во время моего сержантства, чтобы записать мысли на бумаге. Я почувствовал тогда некоторое недоверие к любым достижениям прогресса. И это недоверие со временем только усилилось.

Не помню теперь точно, по причине ли семейных визитов, которые пришлись на праздничные дни конца года, или из-за чего-то другого, но я два воскресенья не был на улице Спонтини. А когда снова пришел к Никите, он даже не спросил меня о причине долгого отсутствия и совсем не удивился, увидев у меня в руках рождественскую ручку. Мы принялись за работу, как будто оставили ее накануне. По правде говоря, наш пыл значительно охладел. Работа, которая недавно еще казалась захватывающей, была сегодня тяжела, как нудное дополнительное задание. Мы скоро поняли, что наше воображение на исходе. Никита думал о чем-то своем. Он машинально привинчивал и отвинчивал колпачок ручки, взгляд

его то и дело перебегал от бумаги к двери. Он явно кого-то ждал. И я догадывался кого!

Как только Лили вошла в комнату, он оживился. Безразличное выражение лица осветила улыбка. А когда она спросила, на чем мы «остановились», поспешил прочитать последние написанные страницы. Она прослушала их снисходительно и сдержанно одобрила. Несколько слов, которые он сказал ей в благодарность за оценку «такую снисходительную и такую полезную», показались мне глупыми. Явно мнение невестки имело для него большее значение, чем мое. Я бы не удивился, узнав, что после того, как мы так радостно встретились во Франции, он стал немного скучать в моей компании. К счастью, с нами была Лили. Мы болтали о дожде и о хорошей погоде что, казалось, нравилось Никите больше, чем наши собственные споры по поводу *«Сына сатрапа»*. Потом Лили увела нас в гостиную «на урок». Она танцевала с Никитой под звуки фонографа, а я, опустившись в кресло, смотрел, как они, не стесняясь, выставляли себя напоказ. Время от времени она предлагала мне занять место друга. Я из вежливости станцевал с ней фокстрот. И, ведомый ею, старался не сбиваться с такта. Однако на протяжении этого упражнения я не столько был занят мелодией, сколько вдыхал женщину. Я думал, что учился танцевальным па, однако познавал другое. Возвращаясь на место – наполовину довольный, наполовину разочарованный, – я уносил в душе воспоминания о ритмичных движениях Лили рядом со мной и ее банальные слова одобрения: «Внимание, Люлик, это четыре четверти!… Медленнее… Ла-ла-ла… Нет, вы опять ошиблись… Ну же! Теперь правильно!»

Я с радостью потанцевал бы с ней еще несколько минут. Однако она уже повернулась к Никите. Я находил, что рядом с ним она вела себя крайне непринужденно. Было что-то, думалось мне, неприличное в мерных колебаниях ее бедер, в вызывающих движениях живота, что со мной она танцевала не так. Конечно, она вела себя более свободно с Никитой, чем со мной, потому что лучше знала его. Я, как там ни говори, был чужим в этой семье.

Без чего-то пять нас прервал приход Анатолия. Иногда он возвращался так, без предупреждения, в Париж из своих поездок по провинции. Его неиссякаемая радость давала повод думать, что он с утра до вечера только и делал, что пил то престижное шампанское, которое должен был продавать. Поцеловавшись с дорогим гостем, Лили перешла от деверя к мужу. Смотря на них, я мог оценить разницу между женщиной, которая танцует ради собственного удовольствия, как если бы танцевала перед зеркалом, и той, которая хочет разжечь желание мужчины. Со

мной, с Никитой это было развлечением; с Анатолием – чем-то серьезным. Прижавшись к нему, она извивалась, растворялась в глазах своего партнера, приоткрывала губы, ловя его дыхание, как будто бы ей не хватало собственного. И Анатолий отвечал с тем же увлечением на призывы игры. Их ритмичные прикосновения возбуждали меня и в то же время были мне неприятны. Я не мог отвести от них взгляда и презирал себя за то, что не мог оторваться от вызывающей игры взрослых. Никита тоже, казалось, был раздражен этим выплясыванием брата и невестки. Они сменили пластинку. Я с облегчением вздохнул, когда увидел, как они поцеловались. Мне думалось, что это был конец их забав. Однако Лили пошла за другими пластинками, стоявшими в дискотеке. В то время, как она выбирала, читая этикетки, Анатолий спросил у нее, как поживает наш *«Сын сатрапа»*.

– Продвигается с грехом пополам! – ответила она.

– Ну и как, прилично?

– Небезинтересно… – произнесла Лили с неопределенным, недовольным выражением лица. – Кроме того, их никто не гонит! У них есть время!..

Анатолий в ответ произнес каламбур о *«Сыне сатрапа»* и грязной болезни, которая «с'атрап»[9]. Лили расхохоталась и повисла у него на руке. Я был оскорблен идиотским высказыванием Анатолия, как если бы он плюнул на картину в музее. Я не понимал, что Лили и даже Никите эта гнусная шутка понравилась. Не были ли они той же породы, что и этот дурак, тогда как я думал, что они близки мне? Лили станцевала еще один фокстрот и танго с мужем. Потом вдруг они заторопились уходить. Можно было подумать, что забыли о важной встрече. Им явно не терпелось вернуться к себе домой. И вряд ли для того, чтобы еще потанцевать.

После того, как они с подозрительной поспешностью исчезли, Никита и я поднялись в комнату. Привычная писанина ждала нас на столе. Никита безразлично полистал ее и спросил:

– Ты нашел что-нибудь новое для книги?

– Нет. А ты?

– Я тоже. Мне кажется, что наш *«Сатрап»* как-то странно хромает!

Я посмотрел ему прямо в глаза, с вызовом и задал вопрос, который волновал меня уже три недели:

– Скажи честно. Ты хотел бы все бросить?

– Нет, нет, – пробормотал Никита. – Но, как говорит Лили, у нас есть время…

– Ты слишком слушаешь Лили!

– Да. Это тебя смущает?

– Да нет, – уверил я вяло.

– Она дает хорошие советы, знаешь, – продолжил он.

– Твой брат тоже дает хорошие советы!

– Нет, он дурак! – проворчал Никита.

– Как бы там ни было, – сказал я с иронией в голосе, – но если Лили ничего не подсказала нам для *«Сына сатрапа»*, то научит нас танцевать…

Не понимая, смеюсь я над ним и его невесткой или говорю искренне, он недовольно заметил:

– Ну да, впрочем, она права. В нашем возрасте нужно обязательно уметь танцевать.

– Все умеют танцевать, – возразил я, – но немногие умеют писать! А мы оба, как мне кажется, никогда не сможем ни танцевать, ни писать!

При этих словах Никита пришел в необъяснимую ярость. На кого он разозлился – то ли на меня, то ли на своего сводного брата, то ли на Лили? Не владея собой, с перекошенным ртом он заорал:

– Тебе что надо, старик? Ты чем-то недоволен?

– Да нет, – сказал я, не растерявшись. – Мне кажется, что наша история не клеится… Можно подумать, что это так трудно…

– Это случается со всеми писателями… Даже мама иногда говорит, что у нее больше нет вдохновения…

Он смягчился. Мы снова сели за нашу едва тлевшую рукопись. И задумались над своей юношеской беспомощностью. С пером в руках, забыв обо всем на свете, я будто со стороны наблюдал за тем, как в моем воображении боролись герои, которых мы выдумали, с людьми из нашего окружения; вымысел с жизнью; сочинение с танцем; сын сатрапа с Лили. Кто возьмет верх? Я не мог ответить на этот вопрос. Да, впрочем, он меня уже больше и не занимал. Меня завораживала белая страница. Странно, но мне показалось, что именно она решит, когда придет время, должен ли я стать писателем, на что я безумно надеялся, или же босяком, чего не переставал отчаянно бояться. Чтобы прервать молчание, мы обсудили события, которые произошли в наших лицеях. Сами того не желая, поблуждав среди взрослых, имеющих настоящую профессию людей, мы вернулись на свои места за школьными партами.

На следующей неделе я заставил себя перечитать последние страницы *«Сына сатрапа»*, чтобы вновь погрузиться в его атмосферу. Меня смутила одна фраза из сцены, придуманной Никитой. Рассказывая о встрече наших героев – Часса и его невесты, – он писал: «Он пожирал ее поцелуями, а она возвращала

ему в сто крат больше». Формулировка показалась мне неудачной и даже смешной. Это соревнование в поцелуях заставит, наверное, смеяться искушенных читателей? Я не мог ответить на этот вопрос по незнанию и подождал нашей обычной встречи в воскресенье, чтобы поговорить о нем с Никитой. Он удивился моему сомнению:

– Что тебя раздражает в этой фразе? – спросил он.

– Я считаю, что она глупая!

– Сам ты глупый, старик! – воскликнул он. – То, что я написал, как раз и происходит в жизни.

Он произнес это с тем прилежным и в то же время возбужденным выражением лица, как на уроке танца с Лили. Сознавая, что не имею никакого права на спор в области любовных отношений, я не стал настаивать. Однако поверил ему не до конца. По возвращении домой мне захотелось услышать мнение брата о пассаже, ставшем предметом наших споров. Шура, хотя и был ученым, имел в свои шестнадцать с половиной лет в моих глазах гораздо более высокий в этом деле по сравнению с моим авторитет. Прочитав текст Никиты, он ухмыльнулся:

– Ну и что? Все, как в жизни!

– А ты не считаешь, что это несколько преувеличено – «стократные» поцелуи?

– Конечно нет! Он должен был бы еще добавить!

Наш разговор мог бы на этом закончиться. Но Шура был настроен на откровения. Я, сам того не желая, подтолкнул к этому, так как в заключение пробормотал: «В конце концов это не стоит так размазывать в книге!» Он перебил меня:

– Почему бы нет, если это существует! Все прошли через это!

Удивленный такой уверенностью, я спросил прямо:

– Даже ты?

– Ну да, старикан!

И уточнил, подмигнув:

– Раз у тебя этого не было, ты и не знаешь!

Я догадался, что он потерял невинность. Как мог я думать, что у него не было других увлечений, кроме цифр? Позади его черного табло вырисовывались девушки из плоти и крови, и, может быть, даже женщины! Эта мысль отозвалась во мне восхищением и недоверием. Явно Александр не был тем же, что и Шура. И даже не девственником. В шестнадцать с половиной лет он совершил подвиг, который оставлял меня далеко позади него.

– Когда ты это сделал? – спросил я вполголоса, боясь как бы меня не услышали через дверь.

– Две недели назад, – бросил он небрежным тоном.

– С кем?

Александр приложил палец к губам, чтобы показать, что предпочитает хранить секрет. Я продолжал настаивать:

– Дома об этом никто не знает?

– Никто, кроме тебя.

– Ты влюблен?

– Необязательно влюбиться, чтобы начать, – сказал он цинично. – Достаточно иногда залезть в карман.

– Ты заплатил?

– Да… Дружескую цену… Мы были с одноклассниками… У них был адрес, ну и пошли… Отлично повеселились!

Он все еще веселился. Я был потрясен его распутством и завидовал осведомленности. Вспомнилось, что в начале месяца он продал свою коллекцию марок торговцу, державшему лавку под открытым небом в садах на Елисейских полях. И, конечно, на эти деньги расплатился за профессиональные услуги своей первой наставницы. В прошлом году папа тоже расстался с одной вещью, которой особенно дорожил, – большим золотым перстнем с печаткой, привезенным из России. Однако у него был более благовидный мотив. Нужно было оплатить операцию аппендицита, в которой остро нуждался мой брат. Для большей надежности он обратился к русскому хирургу. Одной московской знаменитости, который, чтобы иметь право практиковать во Франции, должен был пересдавать экзамены, как простой студент медицинского факультета. Этот соотечественник – отличный хирург – согласился на оплату в рассрочку. Операцию, естественно, делали под наркозом. Александра, перед тем как разрезать, усыпили при помощи маски с хлороформом. Он ничего не чувствовал. А когда мы всей семьей пришли проведать его в клинику, он все еще не проснулся. Жаловался на тошноту. Мысли его путались. Вспомнив эту первую встречу с ним после того, как он пришел в сознание, я спросил: «Наверное, нечто подобное испытываешь в объятьях женщины?»

Он расхохотался:

– Да что ты! Там возбуждаешься! Хочется повторить! Но это не всегда возможно!

Это откровение разожгло мое любопытство настолько, что я еще спросил:

– Какая она?

– Кто?

– Та, с которой ты испытал удовольствие?.. Она красивая?..

– Увы, нет!

Я был разочарован:

– И несмотря на это?..

– Великолепно!.. Поверь, совсем необязательно, чтобы она

была красивой… Она, конечно, не уродина! Но в такие мгновения хватает и этого! Увидишь, когда придет твой черед!..

Я не торопился следовать за ним по этому пути. Мне трудно было представить себе, что мама, сестра, бабушка, м-ль Гортензия Буало, отец, лицейские преподаватели испытывали такие же чувства, о которых с удовольствием рассказывал Александр и радость от которых пытались описать и я, и Никита в *«Сыне сатрапа»*. Весь мир вдруг показался мне населенным животными с человеческими лицами. Я сам был одним из этих животных. Клубком примитивных инстинктов с манерами хорошо воспитанного мальчика. И мне не было от этого стыдно. Я заметил, что то хотел, то совсем не хотел знать об этом больше. Разрываясь между потребностью укрыться в детстве и опасением упустить главное, перечеркивая его, я остановился на том, что сказал себе: единственная возможность для меня быть счастливым – дружить только с мальчиками моего возраста и моего круга.

Александр, вероятно, угадал мою мысль, так как, не сказав ни слова, вернулся к своим подсчетам за черной доской. Сеанс братского воспитания был окончен. Мне вновь было тринадцать, а ему – скоро стукнет семнадцать лет. Наши дороги расходились.

Вернувшись несколько дней спустя на улицу Спонтини, я поделился с Никитой «важным разговором», который состоялся у меня с братом. И признался ему, что, как ни странно, но откровения Александра охладили мой пыл. Может быть, нам надо было бы, сказал я, пройти то же, что и он, посвящение в тайну – лишение невинности, – чтобы писать историю, в которой главное место полагалось занять любви? Это замечание мой друг нашел таким абсурдным, что захлопал по бедрам руками. По его мнению, настоящий писатель – а он нас к таковым и относил! – мог без труда представить себе различные фазы физического удовольствия. Достаточно для этого «вкусить его первые плоды». Заинтригованный, я спросил у него точное значение этого выражения. Как это было со словом «сатрап», Никита обратился к словарю и даже прочитал мне определение. Узнав, что выражение «вкусить первые плоды» означало – отведать первые плоды земли, равно как и иметь первые любовные опыты, я успокоился. И даже, поддавшись уверенности моего «соавтора», признал, что в некоторых случаях воображение выгодно дополняло опыт. Однако, как только перед моими глазами не стало симпатичной физиономии Никиты, мною вновь овладели сомнения.

В течение всей недели мне казалось, что он отдалялся от меня, что мы попали в два противоположных течения, что он незаметно плыл к незнакомым землям, в то время, как я,

оставаясь верным берегам моего детства, в центре которого были мои родители, брат и сестра, немного отставал. Мне уже не так не терпелось увидеть Никиту; в то же время по ночам меня неотступно преследовала мысль о неизбежном и необходимом физическом испытании.

Я думал об этом этапе, как о дополнительном экзамене за лицейский курс, который нужно «свалить» во что бы то ни стало, чтобы добраться до статуса настоящего, взрослого, хорошо осведомленного мужчины. Конечно, были в ожидании этого события «приобретения» и «утраты». И такие женщины как Лили, как Ольга исполняли роль экзаменаторов и распределяли дипломы. А пока шло время, мои еженедельные тайные разговоры с Никитой и работа над *«Сыном сатрапа»* казались мне подготовительными упражнениями, каникулярными заданиями, чем-то вроде дополнительных уроков в ожидании «великого дня». Случалось, ночью мне грезились необычные видения. Я видел во сне обнаженных женщин, танцевал, прижавшись телом к телу, с незнакомками, которые дарили мне настоящие, пленительные ласки.

Чтобы не скучать, когда оставался один, я часто представлял себе репродукции картин, которые когда-то видел в старых номерах *«Иллюстраций»*.

Нимф, дарящих свои груди какому-то олимпийскому богу; поднятые зады, забавные пупки, соблазнительные подмышки – я рассматривал все эти прелести в мельчайших деталях. Предпочтение в этом гареме из произведений живописи отдавалось *«Рождению Венеры»* Боттичелли. Я любил это обнаженное, целомудренное, нежное создание. Она стояла на огромной раковине, одной рукой прикрывала грудь, в то время как другой, стыдливо положенной на промежность, и рекою длинных волос скрывала благословенное место всех мужских вожделенных мечтаний. Однако странная вещь – еще больше, чем эти откровенно обнаженные прелести, мое воображение возбуждали воспоминания о фразах, замеченных во время чтения. Закрыв глаза, я иногда рассказывал какое-нибудь стихотворение Расина, и этого было достаточно для того, чтобы меня воспламенить. Представляя женщину «в простом явлении красоты, только что проснувшуюся», я, казалось, приподнимал простыню и видел тело – томную, влажную, лучезарную плоть. Разве не было это доказательством магической власти слов над сознанием читателя? Разве не должен я был признать эту очевидную истину, чтобы продолжить писать *«Сына сатрапа»*? Что же касается лучшего средства избавиться от назойливых, сладострастных мыслей, которые меня иногда приятно

возбуждали, то оно было простым – достаточно было настойчиво подумать о сестре. Результат был столь мгновенным, как если бы я выливал ведро воды на пылающий костер. Мои миражи рассеивались, желание угасало, я вновь становился самим собой. И, успокоенный, опустошенный, ждал ближайшего визита к Никите, который, думалось мне, был для моих лет истиной в последней инстанции.

В следующее воскресенье, когда я пришел на улицу Спонтини, меня в своей комнате встретил неузнаваемый Никита. Его лицо расплылось в победной улыбке, казалось, что он выиграл в лотерею. Его переполняла, распирала какая-то тайна. Закрыв глаза и даже не взглянув на рукопись *«Сына сатрапа»*, которую я ему принес, он воскликнул:

– Есть!

– Что есть?

– Ну то, о чем ты думаешь!

Я почувствовал, что мою дружбу предали. Он перешел если не в недруги, то как минимум в стан взрослых. Меня обдало холодом одиночества и в то же время удручило сознание собственной непохожести – следствия столько же моего возраста, сколько характера.

– С кем? – спросил я кратко.

Он поднес два согнутых как клешня пальца ко рту, будто запирал его на замок:

– Государственный секрет! – присвистнул он.

– И твои впечатления?

– Потрясающе! Седьмое небо! Даже выше!

Наверняка он преувеличивал, чтобы позлить меня. Стараясь казаться равнодушным, я спросил:

– Сколько это тебе стоило?

Он легонько постучал ногтем большого пальца по зубам:

– Ни су!

Просвещенный признаниями брата, я поначалу подумал, что Никита врет, чтоб набить себе цену. Потом решил, что он, определенно, идет по стопам своего отца. Воеводовым всегда удавалось выиграть, сделав ничтожную ставку.

– Расскажешь! – сказал я с иронией в голосе.

– Нет, – ответил Никита. – Сохраню впечатления для нашей книги.

– Хочешь ее продолжить?

– Конечно! А ты?

– Я сомневаюсь. Думаю, что нам нужно было бы немного отдохнуть, поразмыслить…

– Короче, ты сдрейфил?

Я заверил его, что нет. Однако мысленно серьезно спрашивал себя: не лишимся ли мы оба удивительного источника воображения из-за того, что один из нас потерял невинность. Может быть, самыми великими писателями были те, кто на протяжении всей жизни воздерживался касаться женщины? Может быть, нужно остаться девственником до глубокой старости, чтобы сохранить в сознания дозу наивности и свободы, необходимые для творчества?

В следующие дни школьная рутина развеяла мои сомнения. Чтобы отвлечься от трудностей, встреченных во время сочинения *«Сына сатрапа»*, я решил показать свои способности в банальном сочинении по французскому. Нам предстояло написать одно из тех «воображаемых» писем, которыми так дорожат учителя литературы. Его нужно было адресовать от имени почившего Буало ушедшему давно в мир иной Расину, чтобы посоветовать ему быть более осмотрительным в выборе сюжетов своих трагедий, ибо, «чем правдоподобнее произведение искусства, тем больше оно имеет шансов взволновать читателя». Малоприятные воспоминания о гувернантке делали меня пристрастным к скучному автору *«Поэтического искусства»*. В моем воображении м-ль Гортензия Буало более чем когда-либо представляла собою Никола Буало. Против воли я чувствовал потребность критиковать его догматическую уверенность. Чтобы лучше обличить его, я привел в своем сочинении несколько знаменитых его афоризмов, которые записал во время чтения: «Ничто так не прекрасно, как правда, одна лишь правда приятна»; и то душевное откровение, которое, думалось мне, разоблачало его целиком: «Прежде, чем писать, научитесь думать!»

Мое сочинение, написанное на одном дыхании, было защитной речью в пользу фантазии в литературе. Как и следовало ожидать, этот взгляд пришелся не по вкусу моему учителю М. Этьенну Корфу, который был приверженцем мудрости и традиции. Я получил девять баллов из двадцати, и мое задание было возвращено мне с замечанием, сделанным на полях красными чернилами: «Вы не раскрыли тему. Цитаты правильные. Однако прискорбная поверхностность». Этот приговор озадачил меня. Как следовало его понимать? То ли он отмечал мой слишком небрежный стиль, то ли мое слишком богатое воображение? И то и другое, конечно!

Месье Этьенн Корф гордился тем, что был прям и строг в своих суждениях. Что бы он сказал, если бы мог прочитать первые страницы *«Сына сатрапа»*? Может быть, думал я, следует отдать ему нашу рукопись, чтобы узнать его мнение? Говорят, Расин когда-то тоже искал одобрения у той дубины Буало.

Вдохновленный этой идеей, я решил поделиться ею с Никитой. У нас не было телефона в квартире на улице Сент-Фуа. Этот аппарат стоил бы слишком дорого. Всякий раз, когда кто-то из нас хотел «позвонить в город», он шел в ближайшую телефонную кабину. Что я и сделал однажды, возвращаясь из лицея. Звонок звучал долго в квартире Воеводовых. Наконец незнакомый голос ответил мне. Я удивился, узнав, что Никиты нет дома, что он не вернется даже вечером и что никто из членов семьи не может подойти к телефону, чтобы точнее мне ответить.

Вернувшись домой, я мысленно перебрал все возможные предположения, и только во время обеда заговорил с родителями о своем беспокойстве. Папа оторвался от еды и, посмотрев внимательно на меня, сказал:

– Я думал, что ты вскоре сам все узнаешь… У Воеводовых очень большие неприятности!.. Они не ответили по телефону, потому что отец Воеводов вынужден был бежать!

Я сначала подумал, что папа шутит.

– Как бежать? – пробормотал я. – Почему?

– Стоит ли удивляться, – вздохнул папа. – Это должно было произойти. Он попался на обмане. Его должна была арестовать полиция, он предпочел улизнуть…

– Где он?

– Думаю, прячется в Бельгии.

– Один?

– Нет. Со всей семьей. Какой скандал среди эмигрантов! Несчастные, которых он разорил, хотят собраться, чтобы подать на него в суд. Но по ту сторону границы – ему на них наплевать! Он выпутается в очередной раз, прибегнув к юридическим подлогам…

– А Никита?

– Он уехал с отцом, матерью, братом и невесткой… Все семейство там в полном составе! Они бежали ночью… Тайком. Они все бросили на улице Спонтини…

– Что значит «все»? – спросила мама.

– Все, что можно было! Мебель, посуду…

Пытаясь представить себе бегство Воеводовых, я подумал о библиотеке Никиты, потом вдруг на память, как это ни странно, пришли серебряные подставки для ножей, которыми я так восхищался за столом. *«Сын сатрапа»* вспомнился только в третью очередь. Может быть, Никита подумал увезти рукопись? Нужно было во что бы то ни стало получить назад оригинал. Для чего? Чтобы продолжить писать историю, в которую ни он, ни я больше не верили? Я был в отчаянии. Однако, о чем я больше жалел – о Никите или о сыне сатрапа? На всякий случай я спросил:

– Их адрес известен?

– Конечно нет! – ответил папа. – Они там инкогнито. Ну! Я за них не беспокоюсь! Георгий Воеводов – отпетый проныра! Он, конечно, переправил свои капиталы в надежное место до того, как его разоблачили. Он дурачил русских во Франции, найдет таких же в Бельгии. И Анатолий будет продавать свой пикет[10], незаконно названный шампанским, бельгийским простофилям вслед за тем, как успешно поил им французских простофиль. Спорю, через год или два вся эта замечательная компания комбинаторов будет вновь на плаву!

Я сердился на папу за то, что он радовался провалу Воеводовых. И в то же время понимал, почему он, кто потерял все и кому не в чем было себя упрекнуть, питал неприязнь к тем, кто все получил, не сделав ничего, кроме того, что только спекулировал на простодушии своих соотечественников. Ему – жертве политики, войны, революции, изгнания – малейшая удача вне России казалась оскорблением его честного прошлого. «Только бы мне не стать однажды таким, как он!» – говорил я себе.

В тот вечер, оказавшись рядом с Александром в нашей комнате, я не стал говорить с ним о неприятностях, постигших семью Воеводовых. Впрочем, он и не придал им значения. Его заботы явно находились в тысяче лье от моих.

Лежа в постели, я смотрел, как он, как обычно, выстраивал уравнения на черной доске. Насколько моим миром были вечные мечты, литературные иллюзии, настолько его – занятия с цифрами, научная точность, несомненность того, что «два плюс два равно четыре». События этих последних дней ничего не изменили в его жизни; ни в жизни моей сестры, которая только что вернулась с репетиции, продолжая думать об арабесках, фуэте и жэте; ни в жизни папы, который – едва освобождался стол – погружался в чтение эмигрантских газет и разбор старых бухгалтерских документов; ни в жизни мамы, которая, как и каждый вечер, чинила белье домочадцев; ни в жизни м-ль Гортензии Буало, которая все еще искала место гувернантки, отправляя во все концы Франции письма старательно написанные, предлагая свои услуги за разумную цену; ни в жизни бабушки, которая не переставала спрашивать себя, почему мы не вернулись в Москву, где у нас был большой дом и множество слуг. Почему у меня одного были в жизни потрясения? С отъездом Никиты я почувствовал себя еще раз изгнанником. Я сменил страну в то время, как никто вокруг меня этого не заметил. Если я хотел пережить это потрясение, то мне нужно было все изменить, все вновь придумать в моей жизни –

дружеские воскресные визиты, новую цель существования, новое увлечение, может быть…

Понадобилось мужество для того, чтобы прийти на следующий день в класс. Я был в трауре по Никите. И немного по *«Сыну сатрапа»*. Потом день за днем школьная рутина заставила забыть сомнения начинающего романиста. На всякий случай я написал Никите на улицу Спонтини с пометкой «Просьба передать» и указанием моего собственного адреса на обратной стороне конверта. Для большей надежности я отправил три письма подряд. И все они вернулись назад с отметкой «По указанному адресу не проживает». Это подтверждение отсутствия окончательно обескуражило меня.

По прошествии какого-то времени я смирился. И, поразмыслив, понял, что должен был искать в другом месте выход моей потребности в дружбе, в откровениях и в творчестве. Я долго относился с неприязнью к товарищам по лицею Пастера и, наконец, нашел тех, кто разделил мою любовь к литературе. Романы, поэмы, пьесы – мы читали все подряд, что попадало под руку; тайком критиковали чрезмерно-классические вкусы нашего учителя; некоторые из нас даже мечтали подражать – позднее – писателям, имена которых встречались в журналах. Я предложил моим новым друзьям продолжить вместе со мной писать *«Сына сатрапа»*. План не заинтересовал никого. Впрочем, я и сам не был больше уверен в том, что хотел довести дело до конца. Начатый с энтузиазмом *«Сын сатрапа»* потерпел крах.

Я заметил также, что с отъездом Никиты и отказом от романических увлечений, родившихся на улице Спонтини, неотвязные любовные мысли исчезли одна за другой, не вызвав сожаления. Ушедший из моей жизни *«Сын сатрапа»* увел с собой всех воображаемых женщин, населявших мои бессонные ночи. Я вновь – чудом – стал чистым, спокойным и «мудрым, как святой образ», как ужасно сказала бы м-ль Гортензия Буало.

С течением времени я пристрастился к учебе. И в каждый следующий класс переходил без труда. В пятом, в четвертом, в третьем я заполучал – по французскому как минимум – лестные оценки. Дома я играл роль «литератора». И не моргнув глазом заявлял, что мои честолюбивые планы на будущее связаны с написанием книг. Ничто, думал я, не могло сравниться с тем опьянением, которое овладевало мною при виде книги, написанной каким-то незнакомым человеком, задуманной не для меня, но которая тем не менее была загадочным образом мне предназначена. Достаточно было вдохнуть запах печатной страницы, чтобы взлететь к высотам, незнакомым большинству из смертных. Заколдованный этой магической силой, я сам хотел

стать магом. Я начинал верить, что весь мир (был) создан Богом только для того, чтобы позволить мне воссоздать его в моих сочинениях. Я не знал, как взяться за это, я с трудом находил нужные слова, однако желание рассказывать не исчезало. Тем временем каждый в семье шел своим путем, не занимаясь другими. Брат успешно продвигался в области недоступной мне – математике. Сестра подписала контракт на гастроли в США и с радостью уезжала туда с маленькой труппой, которая недавно выступала в «Атена Палас». Бабушку, силы которой таяли, приняли в дом престарелых для русских эмигрантов. М-ль Гортензия Буало нашла наконец место учительницы у частного лица в Бордо. Я принял ее отъезд с облегчением и с грустью одновременно. Она была для меня на протяжении всего моего детства одиозной брюзгой и в то же время особенным свидетелем всех событий, происходивших в нашей семье. Мы, наверное, будем жалеть о том, что ее нет. Некоторое время спустя умерла бабушка, не приходя в память. С ее уходом я с удивлением осознал место, которое она занимала рядом с нами, хотя большую часть времени слушала нас, не понимая. Она родилась в Армавире, на Кавказе. Мы похоронили ее на кладбище в Нейн-сюр-Сен. Она до конца не поняла, что ее жизненный путь был пройден.

Неделю спустя после похорон, очень скромных, папа, воспользовавшись тем, что мы собрались за столом к ужину, снова заговорил со мной о Воеводовых. По его сведениям они уехали из Брюсселя после смерти Анатолия, который, сказал он, застрелился в машине четыре месяца назад во время одной из своих поездок, связанной с продажей шампанского.

– Они только что приехали в США, – уточнил папа. – Говорят, они остановились в Нью-Йорке.

Эта новость сразила меня как молния. Я с трудом смог повернуть язык.

– С Никитой? – спросил я наконец.

Лицо папы при этих словах застыло, стало чужим. Выражение презрения легло на губы под седеющими усами.

– Нет, – сдержанно ответил он. – Никиты с ними нет.

– А с кем он?

– Остался в Бельгии.

– Один?

– Не совсем, – ответил папа, скупо улыбнувшись.

– А с кем же?

В папиных глазах мелькнул гневный огонек. Можно было подумать, что он меня винил в бесчестии Воеводовых.

– Он живет с вдовой своего брата, – сказал он, выделяя

каждое слово, чтобы я не упустил ни одного слога из них.

Я не смог произнести ни слова в ответ; потом посмел слабо возразить:

– Это… Это невозможно!.. Ему только семнадцать! А Лили, должно быть, тридцать пять!

– Есть женщины, для которых разница в возрасте составляет особую прелесть. Я лично не знаю эту Лили, но то, что слышу от людей, с которыми она знакома, убеждает меня, что она такого рода женщина. Разумеется, вся русская колония в Париже, как и в Брюсселе, потрясена. Никто не хочет принимать эту особу, ни тем более ее посещать. Не знаю, на что она и Никита живут в Бельгии. Может быть, она торгует своими прелестями. Кажется, она очень свободна в поведении и взглядах!

– Какая низость! – воскликнула мама. И ничего нельзя сделать, чтобы этому помешать? Может быть, нужно написать родителям Никиты? Знают ли они?

– Не вмешивайся в это скверное дело! – отрезал папа.

Однако мама настаивала:

– Ведь они не поженятся?

– Нет, нет! – ответил папа. – Никита несовершеннолетний. Нужно разрешение… Но через четыре или пять лет… почему бы нет?

Александр тоже захотел высказать свое мнение. Он отрезал:

– В любом случае это не может продолжаться! Она слишком старая! А у него, конечно, будут более подходящие возможности в жизни…

В то время, как они спорили, мною все больше и больше овладевали чувства удивления, растерянности и одиночества. Однако я нашел в себе силы спросить у папы:

– У тебя есть их адрес?

– Даже если бы он у меня был, я бы не дал его тебе, – ответил он спокойно.

– Почему? Никита – мой друг!

– После всех этих гнусных историй он не может им больше оставаться!

Несколько минут спустя, сказав, что мне нездоровится, я вышел из-за стола.

VII. Последний случай

Я думал, что расстался с Никитой и *«Сыном сатрапа»*. В самом деле, мало-помалу меня увлекали более неотложные – скорее более оправданные занятия. С каждым годом я все дальше уходил от мечтательного детства, погрузившись целиком в учебу. Тем не менее не отказывал себе в удовольствии пробежаться пером по бумаге. Наряду с классными заданиями я строчил коротенькие рассказы, которые показывал своим товарищам, сожалея о том, что не могу знать особенное, незаменимое мнение Никиты. В его отсутствие странная метаморфоза, которую ни я и ни он не предвидели, произошла с моими первыми литературными увлечениями. По мере чтения я открывал волшебное очарование поэзии и презирал прозу, которая, казалось, была недостойна выразить особенные, волновавшие меня чувства. Я увлекся великими романтиками – Мюссе, Виктором Гюго, Виньи, Ламартином. Соперничая с ними, я старался передать свои переживания в восьмисложных и александрийских стихах. Купленный случайно на сэкономленные деньги словарь рифм стал моей настольной книгой. Я мог в любую минуту заглянуть туда, чтобы обогатить мои первые стихотворные опыты. Даже выполняя задания по французскому, какова бы ни была их тема, частенько к нему обращался. Наш учитель Август Бальи, который, к счастью, был великолепным романистом и историком, мог бы сдерживать этот лирический поток. Однако он, должно быть, развлекался моей увлеченностью игрой в слова и рифмы, так как вместо того, чтобы остановить, поощрял меня.

Мои сочинения, недавно еще бесцветные и посредственные, превратились в более или менее удачные подражания великолепным гениям, творчество которых покорило меня. Я был то Виктором Гюго, стоящим на берегу своего разбушевавшегося океана, то Ламартином, спустившим ноги в воды своего озера. Небесная музыка нисходила на меня по ночам. Мои литературные увлечения разделили полдюжины товарищей по классу. Мы образовали группу любителей изящной словесности, высокопарно названную «Академия» (уже!), и решили издавать газетку под названием «Хаос» для школьного и семейного чтения. Шесть номеров газеты смогли выйти благодаря финансовой поддержке самых щедрых из родителей учеников. Я, конечно, не просил помощи у папы, который был в крайне затруднительном положении, однако никто из «академиков» не сердился на меня за это невольное неучастие. Я регулярно поставлял в «Хаос»

материалы. Из-под моего пера выходили то иронические, то пессимистические стихи – я только что открыл символистов. И, меняя модели, писал под Верлена, под Рембо. Как и они, я мечтал стать «проклятым поэтом». Но в то время был лишь самым заурядным лицеистом, и совсем не проклятым, разрывавшимся между сознанием своей беспросветной серости и пониманием того, что не имел права жаловаться, так как мог спать в тепле и есть, когда был голоден. Лишь переход в философский класс заставил меня вернуться к прозе.

Начиная с этого времени, Декарт, Кант, Лейбниц, Шопенгауэр, Бергсон столкнулись в моем возбужденном уме с великими русскими и французскими романистами. Они прошли друг за другом за предшествовавшими им поэтами. Я очень быстро догадался, что сбился с пути, пытаясь уподобиться последним, и что должен был для того, чтобы остаться верным своему призванию, стать в лагерь прозаиков. Довольно долго еще я с удивлением черкал элегические стихи на полях моих рукописей в прозе. Потом подчинился неизбежному.

Главные события моей жизни в это время преобразований и открытий были успокаивающе банальны. Школьные успехи, мимолетные увлечения, потеря невинности, чтение без разбора, обретение – столь же нежданное, сколь недолговечное – друзей, успешное получение двух бакалаврских степеней, поступление на факультет права в Париже…

Рутина жизни послушного студента, который не доставляет слишком много хлопот своим родителям. Брат тоже, вооруженный дипломами, только что «отхватил» по окончании Высшей школы электричества должность инженера в одной фирме по установке телефонной аппаратуры. Он приносил домой деньги, что позволяло папе, который – будучи все еще в отчаянном положении – постоянно жил в долг, немного рассчитаться с платежами.

Сестра, обосновавшаяся в США, где открыла школу классического танца, также пыталась нам помогать, посылая иногда свою лепту. Однако этого было недостаточно для того, чтобы обеспечить семье приличную жизнь. Продолжая учиться на факультете права, я стал подыскивать какую-нибудь более или менее хорошо оплачиваемую работу, которой мог бы заняться в свободное время. И наконец нашел подходящую, просматривая маленькие объявления в одной русской газете: предлагалось представлять во Франции какую-то фирму, производившую мастику и чистящие средства. Предприятие, которым руководил некий Олег Ростовский, гордо называлось «Московская пчела».

Я без особой надежды явился по указанному адресу. Не

имевший представления о средствах по уходу за домом, я был приятно удивлен приемом патрона: Олег Ростовский, который знал моего отца по репутации в России, сказал, что готов принять меня с испытательным сроком на должность представителя фирмы. Имя Тарасовых стало на этот раз рекомендацией в Париже. Чтобы проявить ко мне свое расположение, Олег Ростовский предложил мне работать в шестнадцатом округе, известном хорошими доходами, так как там жили в основном состоятельные люди. У меня не было определенного режима работы – мне платили проценты с продаж. Я обязан был следовать трем правилам: быть вежливым, убедительным и не соглашаться на продажу товаров в кредит. Обрадованный удачной находкой, я с головой окунулся в новую профессию, которая, кроме того, была еще и очень подходящей, так как такая же была у Анатолия, сводного брата Никиты. Он продавал шампанское, я буду продавать мастику – мы будем на равных.

Первые шаги в профессии коммивояжера стали ужасающим испытанием для моей гордости и робости. Между лекциями на факультете я вынужден был ходить по домам, подниматься по лестницам, раскладывать образцы перед недоверчивыми хозяйками. Некоторые не позволяли даже договорить до конца и выталкивали меня наружу, как самозванца. Я оказывался на лестничной площадке пристыженный, оскорбленный, как будто мне на голову выливали содержимое мусорного ведра. В другой раз, напротив, какая-нибудь дама зрелого возраста, казалось, умилялась моей молодостью и неопытностью. Она просила продемонстрировать ей качества моего прекрасного товара. Краснея, непослушными руками я открывал сильно пахнущую скипидаром коробочку с натиркой, наносил мастику на угол пола, растирал дерево шерстяной тряпочкой и приглашал клиентку полюбоваться результатом. Она явно развлекалась моим усердием и наивностью. Что же до меня, то я, не переставая, думал о настоящих натирщиках паркета, которые в Москве приходили каждый месяц чистить до блеска наш дом. Я был совсем маленьким и с любопытством наблюдал за этими мужчинами богатырского сложения (они приходили всегда вдвоем или втроем), которые двигались по гостиной, ритмично, туда-сюда балансируя одной ногой на суконке, как будто исполняли священный танец, музыку которого слышали только они. Пот тек по их багровым лицам. Его терпкий запах наполнял комнату. Когда они заканчивали работу, мамина горничная предлагала им по стакану чая и бублику. Они, тяжело дыша, перекусывали и с гордостью мастеров своего дела рассматривали работу.

Кроме того, я не мог забыть, что у нас в Москве помимо многочисленной прислуги были дополнительные работники, которые приходили в определенные дни, чтобы помочь по дому. Так, кроме натирщиков паркета, мы каждый месяц приглашали часовщика, который должен был осматривать механизм часов, чистить и регулировать их, и мастера по искусственным цветам, который консультировал маму по аранжировке букетов. Мне казалось в то щедрое время, что весь мир не только состоит на службе у нас, но и благоговеет перед нами.

Какая разница по сравнению с холодом – или скорее враждебностью, – которые я почувствовал с тех пор, как окунулся в Париж! Я, конечно, не был создан для профессии коммивояжера. Может, мне следовало бы поискать другой товар – не мастику, чтобы утвердиться в своем таланте продавца? А надо сказать, что в том шестнадцатом округе, где я усердно трудился и откуда частенько возвращался несолоно хлебавши, был особый маршрут – улица Спонтини, на которой когда-то родились все мои радости и честолюбивые мечты.

Проходя мимо бывшего дома Воеводовых, я с грустью мечтал о триумфе, который одержал бы у них, неожиданно представ с продукцией *«Московской пчелы»*. Они купили бы у меня с закрытыми глазами столько, что хватило бы натереть все паркеты Версаля! Вместо этой манны небесной то, с чем я возвращался домой в конце моих турне, было таким мизерным, что я предпочитал не говорить о нем родителям. Впрочем, шесть месяцев спустя *«Московская пчела»* объявила себя банкротом, и Олег Ростовский, вернув остатки товара кредиторам, перешел на копировальную бумагу. На этот раз его фирма стала называться *«Международный переписчик»*. По доброте душевной он сохранил за мной место коммивояжера, так как считал, что тот, кто мог рекламировать средства по уходу за домом, сможет продавать и канцтовары.

Мой энтузиазм был на исходе. Кроме того, приближались экзамены по праву, мне хотелось серьезно заняться подготовкой к ним. И так как теперь я совсем не имел возможности терять время на продажу товара, папа, сильно обремененный долгами, предложил, не– долго думая, заменить меня в этом бесславном деле. Олег Ростовский обрадовался его решению, которое позволяло ему иметь среди своих представителей одного из старых коммерческих и индустриальных магнатов царской России. Однако посоветовал мне сопровождать отца во время его первых визитов к клиентам, чтобы научить искусству убеждения. Я неожиданно оказался не учеником, а инструктором папы. Это повышение в чине смущало и беспокоило меня.

Наш пробный поход стал для меня невыносимым испытанием. Лукавые улыбки, грубые отказы, которые я переносил философски, когда их мишенью был сам, возмутили меня, как только речь зашла об отце. В то время, как он показывал образцы копирки, униженно протягивая их машинистке, просил ее опробовать при нем на пишущей машинке, убеждая с ужасным русским акцентом в том, что этот товар в отличие от любого другого не испачкает прекрасные пальцы покупательницы, мне хотелось оскорбить всех тех, кто смел надсмехаться над ним, в то время, как они должны были бы уважать и жалеть его.

В тот пробный вечер отец и я продали только один пакет копировальной бумаги, две ленты для пишущих машинок и щеточку для чистки клавиш. По возвращении домой я принялся умолять папу оставить дело. Этот презренный труд, к которому я более или менее привык, казался мне недостойным его. Однако он не соглашался. Может быть, хотел доказать, что так же, как и его сын, мог сбыть за бесценок кому угодно и что угодно? На следующий день он отправился на поиск клиентов один. А когда вернулся, в его тетради было только два заказа. Тогда он решил скинуть цену на ленты для пишущих машинок на десять процентов. Однако, заработав не больше, чем накануне, смирился с неудачей. Я понял, что, упрямо бегая по пустякам, он чувствовал еще себя активным, необходимым, уважаемым человеком, а не старой, никому не нужной развалиной. Однако результаты его трудов были столь незначительными, что он не особенно огорчился, узнав, что вслед за *«Московской пчелой» «Международный переписчик»* закрывал дело, распродавал остатки товара и распускал персонал.

Начав с разочарований и дойдя до разорения, мы оказались однажды не в состоянии оплатить квартиру. Наши друзья по эмиграции были так же, как и он, разорены. После ряда предупреждений, полученных заказными письмами, и прихода адвокатов, владелец стал угрожать нам арестом.

Некоторые русские эмигранты, которые уже через это прошли, посоветовали нам тайком перевезти самые ценные вещи до прихода судебного исполнителя. Но у нас не было «ценных вещей». Наша мебель была печальным старьем, собранным постепенно, по мере необходимости. Впрочем, папа отказывался обманывать судебную полицию. «Я не Воеводов, – говорил он с достоинством. – Я не хочу мошенничать. Мы живем во Франции. Я должен уважать французские законы». И добавил печально: «В России мне достаточно было пообещать выплату долга, чтобы дали отсрочку. Тарасову поверили бы на слово. Здесь мое слово

ничего не стоит! Нужно уметь жить со своим временем и по средствам».

Менее покорная, чем он, мама видела в этом новом испытании возмутительную несправедливость судьбы. В ее сознании жестокость французской власти была равноценна жестокости большевиков. Еще немного и она заставила бы папу последовать примеру Воеводовых – бежать в Бельгию. Однако не посмела сознаться ему в этом малодушном искушении и смотрела на него с надеждой и отчаянием, как на капитана, который откажется покинуть свой пароход во время кораблекрушения.

Я же в этом презрении к любому приспособленчеству, любой хитрости видел благородство. В некоторых случаях, думал я, человек чести должен уметь потерять честь, не сожалея. Тем не менее, следуя убедительной просьбе мамы, папа согласился спрятать от притязаний судебного исполнителя семейную икону, которая сопровождала нас во время всего нашего бегства. Она висела вместе с лампадкой – серебряным стаканчиком – прямо под потолком в столовой в «святом углу». Отец сам, став на скамеечку, снял ее, крестясь, чтобы получить прощение за дерзость. Мать завернула святой образ в салфетку. Друзья семьи взяли реликвию к себе на сохранение, пообещав вернуть, как только минует буря.

Я помню, как был потрясен несколько дней спустя, когда к нам вторгся судебный исполнитель, чтобы составить официальные документы. Это был смуглый человечек, сухонький и пронырливый. Стоя посреди столовой, он оценивал взглядом каждый предмет, каждую безделушку и помечал их характеристики в книге записей, которую держал на весу на руке. Все, что привлекало его внимание, он жадно и методично пожирал глазами. И, закончив описание столовой, спросил:

– А спальня где?

– Здесь, – сказал предупредительно отец. – Пожалуйста, проходите за мной…

Он казался мне слишком вежливым с этим хамом, одно присутствие которого у нас было публичным оскорблением. Мама же явно все больше и больше выходила из себя при виде бесцеремонности человека, миссия которого состояла в том, чтобы заставить нас вернуть награбленное, как будто мы скрывали краденое, как будто все здесь было своровано нами у честных граждан. К счастью, брат, задержавшийся на работе, не присутствовал при описи. Будучи человеком вспыльчивого характера, он пришел в ярость, и его скандал только осложнил бы наше положение. Я отчаянно сжимал мамину руку, чтобы

сдержать ее негодование. Когда судебный пристав принялся проверять замки своего чемоданчика, она не смогла от унижения сдержать слез и ушла в соседнюю комнату. Я жалел, что ни одна из так называемых светских вещей не была спрятана, как икона.

Пытка «изучением места» длилась больше часа. Осмотрев все комнаты, чиновник объявил нам, что согласно предписанию закона, он учтет тот факт, что мы живем вчетвером в квартире – мать, отец, брат и я, и что, вследствие этого, он оставит нам четыре кровати, четыре стула и стол. Потом, составив протокол о наложении ареста на имущество, сухо информировал, что если заявленная сумма владельцем не будет полностью уплачена до конца месяца, он вынесет решение по срочному вопросу.

– А потом? – спросила мама упавшим голосом.

– Потом, мадам, – ответил исполнитель, – если предусмотренная сумма не будет выплачена, то по решению суда состоятся торги.

Эта сентенция прозвучала в гробовой тишине. Выложив последнюю информацию, судебный исполнитель попросил стул, сел за столом в столовой и степенно дополнил протокол, который подготовил во время осмотра.

Следующие недели были заполнены страхом перед расправой, которая ждала нас. Печать бесчестия легла на семью Тарасовых. На двери была вывешена афиша, объявлявшая дату торгов по постановлению суда. Они должны были состояться на месте. Консьерж больше не здоровался с нами. Жильцы, которых я встречал на лестнице, отворачивались при виде меня. Весь квартал знал о нашей опале. На улице я крался, как преступник. И не удивился бы, если бы полицейские схватили меня за воротник.

В день и час, назначенные судом, к нам пришли комиссар-оценщик и секретарь суда. Вслед за ними – около полутора десятков торговцев – специалистов по такого рода делам, которые явно знали друг друга. Банда громогласных весельчаков с горящими глазами. Можно было подумать, что они собираются играть в шары. Торги, сопровождаемые грубыми комментариями и раскатами смеха, тотчас начались. Из уст в уста летали цифры: «Тридцать семь… Тридцать девять справа… Кто больше?.. Принято!..» Я смотрел на отца, на мать, прижавшихся друг к другу, опустивших головы, опустивших руки, скованных стыдом. Их публично раздевали. Когда один из старьевщиков приобретал вещь, они вздрагивали, как от пощечины. Я видел, как друг за другом уходили то кресло, то безделушка, с которой у меня было связано какое-нибудь воспоминание. Эти старые вещи имели цену только для нас. Почему их отдавали чужим людям? Это было

почти так же тяжело, как расставание с ребенком!

Когда выставили на продажу черную доску моего брата, я едва сдержал себя, чтобы не крикнуть, что у него не имеют права ее забирать. Как и в день прихода судебного исполнителя, Шура постарался не присутствовать при катастрофе. Однако до этого мы часто спорили друг с другом о возможных последствиях ареста на имущество. Более оптимистичный, чем я, он считал, что продажа нашей мебели, какой бы прискорбной она ни была, ничем не повредит нашему будущему. По его мнению, нужно было даже порадоваться ей, так как она «вскроет абсцесс», «освободит папу от бремени» и позволит нам отплыть «налегке» в славное будущее. Я повторял про себя его смелые слова в то время, как торги неумолимо продолжались. Во время передышки между потоком цифр ко мне подошел папа и шепнул на ухо:

– Мне нужно что-то спросить у комиссара-оценщика. Но я не знаю, как обратиться… Ему нужно сказать «мэтр», как адвокату?

– Не знаю, – ответил я. – Да это не так и важно, папа!

– Нужен минимум вежливости, когда принимаешь!..

– Но ты не принимаешь, Аслан! – воскликнула мама, услышавшая его замечание. – Эти люди не наши приглашенные. Более того, грубые самозванцы, охраняемые законом.

Папа втянул голову в плечи. Уважавший порядок до самопожертвования, он готов был позволить скорее ограбить себя, чем нарушить установленный законом порядок страны, гостем которой стал случайно. Я хорошо понимал возмущение матери, равно как и покорность отца. Уже до окончания торгов грузчики начали уносить купленную торговцами мебель. Дом мало-помалу утрачивал свою душу. Рядом со мной носильщик разбирал маленький письменный стол. В ящике он обнаружил старый школьный дневник и протянул его мне:

– Это ваше?

Я покраснел:

– Да.

И жадно схватил его, несмотря на то что он был старым и совершенно мне не нужен. Скоро мы остались в наполовину пустых комнатах, среди холодных, безразличных, голых стен. Мы больше не были у себя дома, мы на время разместились у чужих людей. На полу лежали кучки пыли, обрывки веревок. Я открыл окно, чтобы выветрить запах пота, оставшийся после суеты торговцев. На авеню Сент-Фуа перед подъездом дома остановился грузовичок. Два молодца погрузили в кузов мамин ночной столик. Консьерж и его жена смотрели на них и оживленно разговаривали. Вдруг они подняли головы к нашему этажу. Я торопливо закрыл окно. Сидевший в прихожей на кухонном столе

папа был похож на поверженного ударом боксера. Однако мгновение спустя он попытался улыбнуться.

– Видела, Лидия? – жалко сказал он. – Некоторые вещи дали очень хорошие деньги… Никогда бы не подумал, что твой ночной столик стоит тридцать семь франков…

– Я тем более! – вздохнула мама.

– Но твой ночной инкрустированный столик… шестьдесят пять франков! Тот, кто его купил, не потерял времени зря!

Он хотел что-то еще сказать, но стиснул зубы и замолчал, опустив глаза в пол, понимая, что, конечно, стал на опасный путь. Мама пошла за веником, чтобы подмести пол. Отец взял его у нее и принялся мести перед собой пыль. Работая, он через плечо приговаривал:

– Так, должно быть, будет и лучше, Лидия! Шура прав, говоря, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно разгрузить пароход от всего, что его загромождает… Выбросить, выбросить, выбросить!.. Мы смогли выбросить наши воспоминания о России; не колеблясь, выбросим и воспоминания о Франции… Их так мало!.. И они почти ничего не стоят!..

Он кашлянул, чтобы прочистить горло, и еще пробормотал:

– Я все предвидел… У меня есть еще довольно денег, чтобы закончить месяц и начать заново. Мы снимем квартиру поменьше, не такую дорогую, в другом квартале, где на нас не будут смотреть косо. А дальше, я выпутаюсь… Вера и терпение, Лидия! Все будет хорошо!

Все так и пошло на самом деле. Месяц спустя мы выехали с улицы Сент-Фуа, чтобы устроиться в скромной «трехкомнатке с кухней», которую папа откопал в другом конце Парижа на улице Сибюэ в двенадцатом округе, около окружной железной дороги. Кое-какая мебель, на которую не польстился судебный пристав, заняла свое место на этом спасительном пароме. Как бы ни было то удивительно, но мне показалось, что эта перемена обстановки могла означать для нас только начало новой жизни, полной приятных неожиданностей и удач.

Я понял, что необязательно было сменить страну, чтобы обрести новые жизненные ориентиры. Что бы ни случалось, наша фамильная икона, привыкшая путешествовать, которая нам тем временем была возвращена, будет примиряться со всеми местами жительства. Я закончил учебу в лицее Пастера, мне нечего было больше делать в Нейи. Да и улица Сибюэ была не хуже любой другой. Я лишь сожалел о том, что не мог предупредить Никиту о перемене адреса. Теперь мы были квиты – он не знал, где живу я, равно как и мне было неизвестно его местонахождение. Если бы мы были антиподами, дистанция между нами не была бы столь

непреодолимой. Так и заканчивается, философски говорил я себе, чаще всего большая юношеская дружба. Может, нужно все забыть – пароход *«Афон»*, улицу Спонтини, *«Сына сатрапа»*!.. Брат и сестра подавали пример реалистического отношения к жизни и выполнения каждым членом своих обязанностей в семье. Мне тоже нужно было вносить свою лепту в семейный бюджет – я решил после получения правового лиценциата выставить свою кандидатуру на административном конкурсе Парижа.

Однако положение иностранца не позволяло претендовать на завидное место ответственного работника. Может, мне следовало изменить гражданство, чтобы воспользоваться представлявшимся случаем? Я так легко в течение десяти лет акклиматизировался во Франции, я так глубоко пропитался французской культурой, я был так счастлив, живя в атмосфере французского словаря, что в моих глазах подобная трансформация сводилась к простой формальности. Родители, напротив, казалось, не принимали моего решения, которое, по их мнению, было равнозначно предательству нашего общего прошлого. Они думали, что, изменив национальность, я волей-неволей оторвусь от наших традиций, наших воспоминаний, наших надежд и разочарований. Они боялись, как бы я не стал чужим для них, заменив русский мираж на французскую реальность. И в то же время советовали мне не слушать их, ибо, говорили они, мое будущее было, конечно, во Франции. Каждый вечер наши споры возвращались к одной теме, чтобы закончиться на одном мучительном вопросе. Наконец, потеряв терпение, они отважились признать мою правоту. Они даже заставили меня ускорить хлопоты. И сдержанно, но без горечи смотрели, как я заполнял формуляры запроса на гражданство. Мне казалось, что они провожали меня на перроне вокзала. В их сердцах, я отправился в далекое путешествие – я уезжал во Францию.

Обмен бумаг, необходимых для приема в лоно французского сообщества, был длительным, сложным, иногда унизительным. Но я не отчаивался. Достаточно было перечитать страничку из Виктора Гюго, Флобера, Бальзака, чтобы примириться с государственными учреждениями страны, которая принимала меня настороженно. Мне казалось, что покровительство, к которому я стремился, было во власти малейшей оплошности, малейшего нарушения, непозволительных иностранцам. 6 мая я даже подумал, что мое дело потерпело крах. Страшное известие потрясло русских, живших во Франции: президент Республики Поль Думер во время посещения ярмарки произведений писателей, бывших фронтовиков, был убит выстрелом из револьвера полусумасшедшим русским эмигрантом, неким

Павлом Горгуловым. Как отреагируют французы на убийство их первого человека эмигрантом, которому они открыли свои границы? Не сочтут ли всех русских, живущих во Франции, ответственными за проступок одного из них, пусть даже умалишенного? Захотят ли они все еще иметь меня своим соотечественником? На следующий после драмы день заголовки газет засвидетельствовали общее возмущение. Я помню один из них – трагичный своей лаконичностью: «Рука иностранца приспустила французский флаг». Я был одним из этих иностранцев. Я должен был им остаться. Кровь Поля Думера пометила всех тех, кто родился вне Франции.

Впрочем, очень скоро народный гнев стих. Мои бумаги на получение гражданства мало-помалу продвигались от конторы к конторе, он инстанции к инстанции. 14 сентября 1932 года Павел Горгулов был гильотинирован.

13 августа следующего года по указу нового президента Республики Альбера Лебрена, заменившего несчастного Поля Думера, я получил гражданство. Я сменил родину, не изменив образа. Родители поздравили меня с этим, оставаясь верными своим ностальгическим чувствам. Мы были вознаграждены за это решение, принятое когда-то в семье, так как после получения гражданства я успешно прошел по конкурсу на место служащего в префектуре Сены. Однако, прежде чем официально приступить к исполнению обязанностей, должен был, следуя требованиям государственных ведомств, пройти военную службу, которая в те времена составляла целый год. Будучи апатридом[11], я «отлынивал» от нее до сих пор. Брат, сохранивший тот же статус, естественно, не был призван в армию. И, очевидно, Никита, укрывшийся в Бельгии, избежал воинской повинности. Как и его отец, он сумел воспользоваться всеми преимуществами положения изгнанника. В то время, как я, наивный ребенок, сам сунул голову в петлю. В моем возрасте потерять год, исполняя унизительные работы в солдатской форме, – не слишком ли дорогая плата за право быть французом? Не совершил ли я огромную оплошность, поменяв удостоверение личности иностранца на удостоверение с отметкой о национальной принадлежности?

Осознание того, что променял, пожалуй, орла на кукушку, пришло в первые же месяцы моей воинской службы, которую я проходил во втором классе в Мецце в артиллерийском полку на конной тяге. Во время самых унизительных нарядов и самых изнурительных упражнений на плацу я не мог помешать себе думать о Никите, который в это время прохлаждался где-то в Бельгии рядом с чувственной Лили. Если бы он видел, как я

чистил картошку, подметал двор, убирал сортиры или ухаживал за батарейными лошадьми, он вовсю повеселился бы и назвал меня полным идиотом. Навязчивая мысль о том, что я стал виновником своего собственного несчастья, достигла крайней степени, когда в казарме я получил авторский экземпляр моей первой изданной книги *«Обманчивый свет»*. Я должен был вот-вот уйти в армию, когда узнал, что рукопись этого романа принята издательством *«Плон»*. Но мой издатель потребовал, чтобы для ее издания я взял псевдоним, так как, по его мнению, моя фамилия с русским звучанием могла заставить читателя думать, что речь идет о переводе, что неизбежно повредило бы распространению произведения. Будучи человеком податливым, я несколько раз поменял местами буквы моей настоящей фамилии, прежде чем решил, что моей фамилией будет Труайя. Заодно без особого воодушевления я изменил и имя – Льва на Анри.

Теперь, когда товарищи рядом со мной болтали и смеялись, я с тревогой рассматривал обложку этой книги, над которой когда-то с таким прилежанием, с такой надеждой и такой искренней гордостью работал. Заголовок был мой, текст – мой, но автором был, определенно, кто-то другой. Его имя – Анри Труайя – мне ни о чем не говорило. Заставив себя принять гражданство, я дал гражданство моей книге. Под этим новым, заимствованным именем она мне больше не принадлежала. Она была неизвестно чьим произведением. Неожиданно передо мной встал страшный вопрос: «Если Никита увидит *„Обманчивый свет“* в витрине книжного магазина в Брюсселе, он даже не будет знать, что этот роман – мой!» И дело осложнялось тем, что я не знал адреса моего друга. Следовательно, как бы ни было велико мое желание сообщить ему о моем литературном дебюте, я даже не мог дать ему знать, что Тарасов и Труайя – одно и то же лицо и что второй только что опубликовал свою первую книгу. Для Никиты я никогда ничего не написал со времени *«Сына сатрапа»*. Между тем *«Обманчивый свет»* был очень хорошо принят критикой. Получая газетные статьи, которые мне регулярно присылал мой издатель, я злился от того, что торчал в казарме Мецца, рядом с неграмотными и веселыми рядовыми, в то время как мое новое имя рождалось вдали от меня, в Париже.

Однако, вернувшись к гражданской жизни, я понял, что трудности, на которые когда-то жаловался в армии, не мешали неожиданным поворотам в моей жизни начинающего писателя, более или менее влюбленного холостяка и неопытного чиновника с ограниченными административными возможностями. В декабре 1938 года я стал знаменитым. За четвертый роман *«Паук»* мне, против всякого ожидания, была присуждена Гонкуровская

премия.

Это внезапное признание настолько же испугало, насколько потрясло меня. Посмею ли, спрашивал я себя, написать еще хоть несколько строчек после такого ошеломляющего успеха? Страх разочаровать тех, кто оказал мне доверие, почти лишил смелости продолжать слишком блестяще начатую карьеру. Исполнив с грехом пополам обязанности, которых требует всегда подобное событие, я почувствовал необходимость посетить тех великих русских писателей, которые находились в эмиграции во Франции со времени большевистской революции. Я прочел к тому времени их произведения и сожалел, что они были так мало известны французским читателям. Став знаменитым, я чувствовал себя в долгу перед теми, кто продолжал, несмотря на огромный талант, влачить жалкое существование в тени. Я почти испытывал желание извиниться перед ними за свой успех. Повод казался подходящим для того, чтобы оказать им почтение.

Один за другим Ремизов, Шмелев, Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус сердечно встретили меня и порадовались тому, что один из их соотечественников стал знаменитым. Однако за их словами я чувствовал затаенную печаль, грусть творцов, лишенных своей привычной аудитории, пленников переводчиков. Я спрашивал себя, что они могли думать обо мне, кто в какой-то мере предал их дело, так как писал на французском. Сразу после получения Гонкуровской премии я прочитал в русской газете *«Последние новости»* следующую заметку: «Вот один из самых печальных результатов *денационализации*. Если бы ее не было, то Труайя был бы, очевидно, русским писателем. Но он получил образование во Франции, французский язык стал для него более близким, чем его родной язык, и, конечно, он никогда не вернется в русскую литературу»[12].

Вердикт был ясен: в таком положении я был не их круга. Не предатель, но двусмысленный союзник, дважды эмигрировавший писатель, человек, имеющий две родины. Удалившись в изгнание, они потеряли не только свои корни, но и своих читателей и, в конце концов, смысл своего существования. Возмужавшие в несчастье, они писали лучше, чем когда-то; однако французские издатели отказывались издавать переводы их произведений, французская пресса игнорировала их, только маленький кружок русских эмигрантов еще читал их в рукописях.

Бежав из России, они прибыли в никуда. Они жили в промежуточной и абстрактной зоне, в некоей no man’s land[13], в ледяном аду апатридов. Думая о них на следующий после получения Гонкуровской премии день, я видел не нелепую госпожу Воеводову, мать Никиты и автора, писавшего для себя

самой слащавые романы, а настоящих русских писателей, живших в эмиграции, флагманов, за которыми шло лишь немногочисленное племя последователей. Почему-то сегодня еще меня неотступно преследуют воспоминания об Алексее Ремизове. Он стоит перед моими глазами, как во время визита, который я нанес ему в Париже из уважения. Старый карлик с толстыми губами и глазами ребенка, он подписывает мне свою последнюю книгу четким, каллиграфическим почерком. Все его творчество находится под сильным влиянием бурлескной фантасмагории русских сказок. Он сам похож на одного из необычных персонажей, которыми населены его произведения. Явно воздух берегов Сены ничто не значит для него. Подписав книгу, он тихим голосом доверительно говорит мне, что ему трудно писать вне «той» страны. Рядом с этим потерявшимся, обобранным, обокраденным человеком я еще больше, чем вчера, чувствую себя узурпатором.

Эти переживания, впрочем, очень быстро захлестнула волна страха, уже овладевшего Францией. С каждым днем приближалась угроза войны с Германией. Безумные крики Гитлера на радио, тревожные заголовки газет, пессимистические комментарии моего окружения усмирили пришедшую не во время радость от лауреатства. С началом мобилизации я испытал двойное потрясение. Я переживал за Францию и волновался за свои планы, связанные с писательским будущим. Кто станет интересоваться книгами, когда вся молодежь уйдет на фронт? Не осуждена ли литература на гибель, оказавшись в потоке слез и крови? Общая опасность делала мелочными и даже смешными творческие интересы, которые волновали нас на протяжении мирных лет. Я завидовал Никите. Укрывшийся в Бельгии и не подлежавший мобилизации из-за того, что был иностранцем, он, вероятно, ускользнет от резни. В то же время я думал о папе, мирном и процветавшем в России, судьба которого была разбита не зависевшими от его воли обстоятельствами. Он потерял все – дом, состояние, друзей, родину, не будучи ответственным за свои несчастья. Политические потрясения играли против него и столкнули его с пути, который он проложил. Что ж, все начиналось заново с разницей в двадцать лет! Как и отец, я должен был сегодня распрощаться с моими вчерашними планами и склонить голову под давлением слепой судьбы. Я покорился печальной чести быть последним лауреатом Гонкуровской премии мирного времени!

Однако даже тогда дерзкая удача играла на руку нашей семье. Следующие годы, омраченные для всех поражением, унижением, оккупацией и крайней нуждой, не помешали мне

сразу после демобилизации, последовавшей за перемирием 1940 года, снова занять место сотрудника бюджетного отдела в префектуре Сены.

Вся наша семья пережила бурю без больших потерь. Александр, который был «на спецучете» во время военных действий, вновь работал на предприятии, нанявшем его в начале его карьеры; редкие открытки, пересылаемые окольными путями из Нью-Йорка в Париж, приносили время от времени новости от сестры, которая вышла замуж и школа танца которой процветала; папа по-прежнему выбивался из сил, занимаясь какими-то делами в эмигрантских кругах; некоторые из друзей, укрывшихся в свободной зоне, переписывались со мной шифрованными письмами, которые поддерживали нашу веру в близкое освобождение.

Вокруг меня с трудом перебивался угрюмый Париж, который я едва узнавал: с его очередями перед продуктовыми магазинами, суетой серо-зеленых униформ, панно-указателями на немецком языке; с его флагами, отмеченными свастикой, на общественных зданиях, сверкающими велосипедами, скользящими между машинами вермахта; с его комендантским часом, сигналами тревоги, последним переполненным метро; с его тонкими коллаборационистскими газетами и, кроме всего этого, безобразными желтыми звездами, пришитыми толстыми черными нитками, на одежде евреев. Несмотря на героизм Англии и первые всплески Сопротивления, было трудно поверить, что удача может изменить Германии. У молодого генерала де Голля, казалось, меньше будущего, чем у старого маршала Петена. Радио из Лондона слушали так, будто оно говорило нам о безумной надежде, о долгожданном, но невероятном счастье. Час сообщения Би-би-си собирал в домах с опущенными шторами народ, страстно веривший в то, что не все потеряно. Малейшее благоприятное сообщение, услышанное сквозь пелену помех, наполняло радостью наши сердца.

В префектуре Сены мы с коллегами вполголоса обменивались противоречивыми новостями, которые узнавали накануне. Мы жили, не отрывая от карты военных действий глаз. Наше чиновничье рабочее время было поделено между двумя основными интересами: информацией и питанием. На всех углах улицы процветал черный рынок. Так, консьерж снабжал квартал сигаретами и колбасными изделиями. Электрик специализировался на картошке и угле.

В монотонности этого существования, серого, полного лишений и стыда, неожиданно произошло радостное событие. В конце июля в отдел утром позвонил брат. «Ты слушал радио?» –

спрашивает Александр. «Нет еще». «Германо-советский пакт разорван. Немцы напали на Россию!» Этого ждали уже несколько дней. Вступление в войну СССР на стороне альянса увеличивает возможность окончательной победы над Гитлером. Я облегченно вздыхаю. Но нужно быть осторожным в телефонных разговорах. Я притворяюсь, что заинтересован событием. «Надеюсь, – говорю я, – что Гитлер хорошо рассчитал свой удар. Ему нужно поторопиться взять Россию до наступления зимы!» Брат поддерживает мою игру: «Я верю в Гитлера. Он не повторит ошибки Наполеона!»

В кулуарах городской Ратуши все уже знают новость. Однако мнение свое высказывать открыто не решаются. Сознание все еще отравлено страхом доноса. Но едва за привычными посетителями закрываются двери кабинета городского бюджета, мы даем себе полную волю. Опозоренный Сталин разыгрывает роль спасителя. Доходы и расходы города забыты. Папки дремлют на столах. У меня не хватает сил заставить себя заняться срочным отчетом о дефиците метро.

Вечером я сажусь в то самое метро, изучением которого не мог заняться в кабинете, и спешу вернуться домой, чтобы спросить родителей об их отношении к распаду союза. Перрон станции «Отель-де-Вилль» усеян маленькими буквами «V»[14], вырезанными из использованных билетов, – заглавная буква слова «Победа». Весь Париж объят лихорадкой. Мне кажется, что пассажиры обмениваются взглядами радостного соучастия. Родители в растерянности. Старое недоверие к большевикам заставляет их сдерживать свое суждение.

В последующие дни моя надежда угасает. Германия молниеносно наступает на СССР. Войска Гитлера сметают Красную армию, без боя занимают города и отправляют на запад потоки потрясенных пленных. Уже оккупированы республики Балтики, Белоруссия, Украина. Под угрозой – Ленинград, Москва… Родители начинают думать, что советское правительство не продержится долго под сокрушительными ударами вермахта и что в результате политических потрясений они, может быть, смогут вернуться на родину после двадцати лет изгнания.

Я сожалею, что в который раз так далек от них в своих мечтах о будущем! Для меня возвращение в Россию немыслимо. Особенно, если речь идет о возвращении туда с благословения врага. Я стараюсь им объяснить, что я – французский писатель, что не представляю себе жизни на другой земле, кроме французской, что, вернувшись в Россию, буду вести существование человека, оторванного от родины, эмигранта; они

не слушают меня, они упрямо держатся за свои иллюзии, которые заставляют меня глубоко страдать.

Отец достает из портфеля свои вечные бумаги, признания долгов, потерявшие силу документы о праве собственности. Склонившись под лампой, он уже видит, как снова обретает свое положение, свое имя, свое прежнее состояние. Я тщетно стараюсь растолковать ему, что, каким бы ни был новый строй в России, ему ничего не вернут из того, что он потерял; он упрямо доказывает мне обратное. В тот вечер, когда Германия заняла, не помню какой, большой город, он даже приглашает меня выпить по стакану водки, чтобы отпраздновать предстоящее возвращение в лоно родины-матери с царем – почему бы нет? – во главе страны. Больше чем когда-либо эта священная водка приходится кстати; он делает ее сам по рецепту эльзасского санитара из карантинного лагеря: 90-градусный спирт, наполовину разбавленный кипяченой водой, отдушенный лимонной цедрой и смягченный каплей глицерина. Выпив по стакану, закусываем жареной свининой, купленной на углу у парикмахера, нашего случайного поставщика. Я соглашаюсь чокнуться с родителями, однако, проглатывая крепкий напиток, кажется, предаю себя, лгу сам себе.

Но мало-помалу иллюзии отца рассеиваются. Постоянно следя за продвижением гитлеровских войск, он страдает от вида опустошенных русских городов, гниющих на обочинах дорог трупов, изможденных, голодных, одетых в лохмотьях русских пленных, которыми переполнены газеты и киноновости. Он даже решает вдруг больше не ходить в кино, чтобы не видеть своей разрушенной неумолимой войной страны. В его глазах, под пулями «германских освободителей» гибнут уже не ужасные большевики, а соотечественники, которые плечом к плечу борются, защищая землю предков от проклятого завоевателя. Он не говорит со мной о своих переживаниях, однако я угадываю пробуждение в нем национального чувства, более сильного, чем политика, и радуюсь этому, как сердечному согласию между семьею и мною самим.

Когда некоторое время спустя советские войска собираются с силами и одерживают первые победы, родители искренне гордятся. Забыв свои эгоистичные проблемы белых эмигрантов, они ловят себя на том, что желают победы родине, которая их больше не желает знать. Они молятся не за правительство, которое не признают, а за народ, который никогда не переставали любить; не за сегодняшний СССР, а вечную Россию.

Чтобы отметить победу под Сталинградом, мы выпили вместе помимо обычной водки кустарного производства бутылку

шампанского, которую откопал бог весть где отец. У него и у матери слезы радости на глазах, как будто они не потеряли в тот день последнюю надежду на возвращение домой.

У меня не было известий от Никиты. Что думал он о событиях? Ждал ли конца войны с тем же нетерпением что и я? Можно подумать, что наша жизнь до тех пор была лишь смутным зарождением, что нам только предстоит родиться! Впрочем, я не очень беспокоился на его счет. Он был ловок, как акробат. И ему, жившему в Бельгии, которая, как и Франция, была под властью немцев, удалось обмануть, думалось мне, контроль нацистских оккупантов и перебраться тем временем к семье в Нью-Йорк. Всплеск радости, которой было встречено освобождение Парижа, подписание мира в 1945 году, побудили меня воспользоваться открытием границ, чтобы поехать в Бельгию.

По совпадению, достойному наших эмигрантских приключений, мне предложили прочитать в нескольких валлонских городах цикл лекций по французской литературе XIX века. Может быть, оказавшись там, я разыщу кого-нибудь, кто приведет меня к Никите или хотя бы подскажет его адрес? Я попросил двухнедельный отпуск в префектуре Сены и сел в брюссельский поезд, мечтая о долгожданных встречах, которые напомнили бы мне чудесные дни на улице Спонтини.

Из вереницы выступлений и речей перед вежливой и немногочисленной бельгийской публикой у меня сохранилось только воспоминание о пожилой женщине в серо-бежевом плаще и разукрашенной шляпке, говорившей с русским акцентом. Она подошла ко мне на выходе из лекционного зала и без обиняков спросила:

– Ваша настоящая фамилия Тарасов?

– Да, – сказал я.

– Так говорят наши соотечественники в Брюсселе, но я хотела знать наверняка…

Боясь как бы она не вовлекла меня в праздную дискуссию об особенностях творчества русских и французских писателей прошлого века, я решил тем не менее, что встреча с этой любезной любопытной дамой могла быть полезной, и в свою очередь спросил ее:

– Вы бываете в эмигрантских кругах в Бельгии, может быть, вы слышали о Воеводовых?

– Конечно, – воскликнула она. – Но они в США!

– Все?

– Думаю, что да…

Поколебавшись немного, она спохватилась:

– Нет! Нет! Постойте, есть молодая чета Воеводовых, которая

незадолго до войны переехала из Брюсселя в Лубэн. Она старше его… Он работает в библиотеке университета, или где-то еще в этом роде… Его жена – служащая аптеки…

– Его жена? Они женаты?

– Да. А что?

– Да нет… ничего…

Сердце у меня учащенно забилось. Собравшись с мыслями, я задал главный вопрос:

– У вас есть их адрес?

– Что вы! Откуда! Впрочем, это несложно! Если хотите им написать, можете всегда послать ваше письмо в Лубэн на адрес одной из городских аптек. Люди этой профессии знают друг друга, они передадут…

Я горячо поблагодарил ее. На этот раз я был на верном пути! Остальное меня не интересовало. Я не очень учтиво поторопился прервать разговор и вернулся в гостиницу, обрадованный новой перспективой. И на следующий день написал на имя мадам Воеводовой, указав на конверте адрес аптеки Лубэна, взятый наугад в телефонном справочнике. Чтобы не сбить с толка друзей, я подписал мое послание фамилией Тарасов, единственной, которая была им известна. И попросил консьержа гостиницы отметить в его книге записей, что Тарасов и Труайя – одно и то же лицо. Поразмыслив, я решил, что у меня слишком мало шансов попасть в цель с первого раза.

Однако несколько дней спустя получил ответ. Он пришел от «Мадам Лилиан Воеводовой». Она явно не была уже мадам Суславской. Никита на ней в самом деле женился. Восемь лаконичных строчек. Я был удивлен тому, что она ни словом не обмолвилась о Никите в своей короткой записочке. Но во всяком случае соглашалась встретиться со мной и назначала свидание в большом кафе Лубэна в четверть первого в следующее воскресенье.

Я предполагал в тот день вернуться в Париж. Однако, не раздумывая, аннулировал бронь на поезд. В ту ночь я едва смог сомкнуть глаза; казалось, что мне снова двенадцать лет, что меня, как когда-то, снова ждут на улице Спонтини на праздник нашей дружбы и литературы.

Я пришел на встречу точно в назначенное время. Входя в кафе, с удивлением увидел сидевшую около входа полную женщину с безразличным взглядом, которая улыбаясь, протягивала мне руку. Нет сомнения в том, что я изменился меньше, чем она, так как она меня узнала. Куда девалась та Лили, хрупкая и соблазнительная, которая учила меня танцевать? Я расстался с кокеткой, а встретил матрону. Жизнь идет быстрее в

отличие от памяти. Потрясенный головокружительным бегом времени, я пробормотал несколько учтивых банальных слов, однако не мог между тем помешать себе посожалеть о том, что ни она, ни мой дорогой Никита не испытали необходимости сообщить мне в свое время об их помолвке.

– Я только на днях узнал, и совсем случайно, – сказал я с упреком. – Это невероятно!..

– Да, да, – согласилась она. – Но тогда у нас голова шла кругом… Все было так сложно для нас!.. Впрочем, церемония была очень скромной, без приглашенных, без шума.

– А Никита?.. Он не пришел с вами сегодня… Где он?

Она не спеша поднесла кружку с пивом к своим ярко накрашенным губам, сделала большой глоток и ответила:

– Как? Вы и об этом не знаете? Никита умер.

Сраженный этим откровением, я сел рядом с Лили, заказал тоже пива и пробормотал:

– Когда? Как?

Как это могло случиться? Ведь Никиту, сохранившего статус апатрида, не должны были призвать в армию в Бельгии. Лили сделала еще глоток, и, подождав пока гарсон принесет мое пиво, не торопясь уточнила:

– Мы пережили страшную бомбардировку в Лубэне в мае сорокового, когда немцы заняли Бельгию! Налет немецкого пикирующего бомбардировщика!.. Университетская библиотека была на три четверти разрушена… Никита был там в тот день. Он присматривал за фондами. Он не захотел спуститься в убежище…

Я опустил голову. Значит, Никиту, у которого были все шансы спастись во время войны, постигла такая нелепая смерть, в то время как я вышел из нее без царапины.

– Мы с большим трудом вытаскивали его из завала, – продолжила Лили. – Меня заверили, что он погиб мгновенно.

– Это ужасно! – пробормотал я, не сумев найти никаких других, кроме этих самых банальных слов, чтобы выразить свое смятение.

И из вежливости спросил еще:

– А вы сами, Лили?..

– Я!.. Я была в аптеке. Со мной ничего не случилось. Теперь мало-помалу отхожу от этого кошмара…

Ее глаза засветились из-под увядших век, и она с печальной гордостью объявила:

– Я даже снова собираюсь выйти замуж!

У меня не хватило смелости поздравить ее с тем, что она так быстро оправилась от потрясений. Это третье начало в жизни женщины преклонных лет вызвало отвращение и удручило. Мне

не хотелось даже спросить имя ее нового избранника. Сентиментальное будущее Лили не интересовало меня, так как с нами больше не было Никиты. Пока я молчал, потрясенный ее рассказом, она распахнула передо мной свой огромный баул и извлекла оттуда стопку листков, которые я тотчас узнал:

– Это ваш *«Сын сатрапа»*, – сказала она. – Никита его бережно хранил. Он перечитывал его иногда. И, думаю, жалел, что оставил незавершенным этот юношеский рассказ. Впрочем, он ничего другого не написал… Я не знаю, что с этим делать… Хотите взять?

Я жадно схватил рукопись, прижал к груди и пообещал позаботиться о ней. И так как заторопился уже уходить, она добавила:

– Никиту похоронили здесь, на кладбище Лубэна. Если хотите сходить на его могилу, я могу, конечно, показать место…

– Нет, нет! – ответил я поспешно. – Завтра утром я должен уехать парижским поездом.

Она опустила потяжелевшую голову когда-то красивой женщины и вздохнула:

– Понимаю, понимаю! Ну что ж, прощайте, Люлик!

Она даже не спросила, зачем я приехал в Бельгию. Она, конечно, не знала, что я был писателем и что в течение почти десяти лет публиковался под именем Труайя.

Я поцеловал на прощание ее руку и поспешил к выходу, зажав рукопись под мышкой и присмиревший как ребенок.

Когда вернулся в гостиничный номер, показалось, что я прожил пятнадцать лет за десять минут. Мальчишка снова стал взрослым, неуверенный школьник – почти довольным своей судьбой писателем, страстно мечтающим написать большую книгу, о которой безумно мечтал в годы ранней юности. Странная ностальгия заставляла меня сожалеть о далеком времени, когда весь я был еще исполнен надежд и сомнений. Мне не хватало светлой бессознательности начала жизни. В то время, как я переворачивал исписанные прилежным почерком Никиты страницы, в памяти всплывали прекрасные часы, проведенные на улице Спонтини. Однако, как бы ни хотелось мне волноваться при воспоминании о прошлом, я очень скоро должен был признать, что *«Сын сатрапа»* был лицейской шуткой. С запоздалым критическим пылом я находил его стиль неверным, сюжет – нелепым, а целое – не имеющим ценности, несмотря на большие претензии на оригинальность. Я увидел вдруг строгую запись месье Этьенна Корфа, сделанную наспех на полях одного из моих сочинений по французскому: «Прискорбная поверхностность». Вердикт прекрасно характеризовал наш

набросок романа. Я вспомнил, что временами, когда хотелось отказаться от работы, мы отчаянно искали еще один «потрясающий случай» для ее продолжения. Этот потрясающий случай *«Сын сатрапа»* нашел несколько лет спустя во время бомбардировки Лубэна.

Прежде чем лечь спать, я позвонил дежурному по этажу. В моем старомодно обставленном гостиничном номере был камин. Я попросил разжечь огонь в очаге и, оставшись один, бросил туда эти несчастные листки, которые позволили когда-то нам поверить в наше писательское призвание. Однако тяга в камине была плохая. Страницы, исписанные нашими иероглифами, долго разгорались, ужасно потрескивая и изредка вспыхивая. Совершая это тайное аутодафе, я терзался угрызениями совести преступника и в то же время чувствовал правоту человека, вершащего справедливый суд. В то мгновение, когда последний след наших давних честолюбивых устремлений превращался в пепел, я думал не о *«Сыне сатрапа»*, а о сыне Георгия Воеводова, незабвенном Никите. Он умер, не опубликовав ни одной книги. Список моих произведений, напечатанный в начале каждого тома, с каждым годом становился длиннее. Кто из нас двоих выбрал лучший способ утолить свою наивную и тираническую потребность в мечте?

notes

Примечания

1

Кавказское имя моего отца, который был родом из Армавира, города, находившегося на Северном Кавказе.

2

Мат'элем – русская транскрипция французского слова *math'eleme* – школьное сокращение «специализированного класса по изучению математики». *(Прим. авт.)*

3

Суп'элек – школьное сокращение названия учебного заведения «Высшая школа электричества». *(Прим. авт.)*

4

«*Розовая библиотека*» – известная во Франции коллекция детских книг. *(Прим. авт.)*

5

«*Бак*» – школьное сокращение слова «бакалавр» – во Франции и некоторых других странах – лицо, сдавшее экзамены за курс средней школы. (*Прим. пер.*)

6

Сбир (*фр. sbire, ит. sbirro)* – низший служащий инквизиции. *(Прим. пер.)*

7

Царицын – в годы советской власти был переименован в Сталинград, в 1961 году – в Волгоград. *(Прим. авт.)*

8

In extremis (*лат.*) – в последнюю минуту. (Прим. пер.)

9

С'Матрап – русская транскрипция французского слова s'attrape – цепляется. *(Прим. пер.)*

Пикет – вино из виноградных выжимок. *(Прим. пер.)*

11

Апатрид – лицо без гражданства. *(Прим. пер.)*

12

«Последние новости», четверг, 8 декабря 1938 г. *(Прим. авт.)*

13

No man’s land (англ.) – земля без людей. *(Прим. пер.)*

«V» – Victoire *(фр.)* – победа. *(Прим. авт.)*